

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е.Ю. Рождественская

**БИОГРАФИЧЕСКИЙ
МЕТОД**
В СОЦИОЛОГИИ



Издательский дом Высшей школы экономики
Москва 2012

УДК 303.686.2:316

ББК 60.5в7

P62

Издание подготовлено при поддержке Научного фонда НИУ ВШЭ
(индивидуальный исследовательский грант Научного фонда
НИУ ВШЭ № 10-01-0105).

Рецензент —

к.э.н., доцент кафедры экономической социологии
факультета социологии НИУ ВШЭ

Е.Б. Мезенцева

ISBN 978-5-7598-0960-9

© Рождественская Е.Ю., 2012

© Оформление. Издательский дом
Вышей школы экономики, 2012

Оглавление

Введение	5
Глава 1. От жизненного пути к биографии	19
§1. Жизненный путь и биография	21
§2. Психологическая биографика	28
§3. Биография и проблемы идентичности	41
§4. Биография и Устная история	47
§5. Гендерные особенности воспоминаний	55
§6. Биографическая память: между индивидуальным и социальным	63
Глава 2. Нарративная идентичность в биографическом интервью	74
§1. Нарративная модель: от события к истории	76
§2. Условия понимания в автобиографическом рассказывании	79
§3. Нарративная идентичность	84
§4. Связность/когерентность (авто)биографии	87
Глава 3. Концепции нарративного интервью у Ф. Шютце, Г. Розенталь	91
§1. Биографическое исследование как процесс принятия решений	95
§2. Ф. Шютце и его концепция процессуальных кривых и нарративного интервью	117
§3. Г. Розенталь и ее версия биографическо-нарративного интервью	142
§4. Качество качественных методов	164
Глава 4. Визуальные документы в контексте биографического исследования	184
§1. Фотоальбом как визуализация биографии	184
§2. Анализ визуального изображения	187

Глава 5. Эмпирические кейсы: анализ нарративной идентичности в биографиях	202
§1. Политическая биография: «Президентом мне не быть»	202
§2. Этнокультурная и социальная идентичность: «из благородной немецкой семьи с баронским прошлым»	219
§3. Субкультурный опыт в биографии: «Я всегда влезала не туда, куда надо, и всегда знакоилась не с тем, с кем надо»	231
§4. Гендерные ловушки в биографии: «Я была домашним, дворовым ребенком»	243
§5. Болезнь и травма в биографии: «Я, по сути, воспроизвожу в танце свои переживания»	258
§6. Биографический опыт репрессий: «Мои родители жили с этим страхом всю свою жизнь»	273
§7. Маскулинная идентичность на уровне индивида (интрабиографика) и группы (интербиографика)	288
§8. Война в биографии: «Никому я не рассказывала, что была в Германии»	304
§9. Сочетание количественного и качественного подхода: типизированная биография мужчин и женщин	316
Глоссарий	349
Библиография	353

Введение

Возникновение в отечественной социологии интереса к биографическому методу далеко не случайно. Этому способствовали как изменения собственно в социологической науке, так и явления более общего социального плана. В центре внимания одного из таких относительно новых социологических подходов — биографического исследования — находятся субъективный опыт, поведение, действия человека. В этом смысле биографическое исследование представляет собой широкую тематизацию субъективности. Поле социологического исследования биографии осталось бы неясным, если бы мы исходили из определения через его объект (биография). Стоит задать лишь несколько вопросов об объекте исследования, чтобы натолкнуться на иллюзию единственного предмета биографического исследования. Имеют ли социальный характер только объективные события жизненного пути? Собственно эти события или когнитивно припомненная история о них? Идет ли речь в автобиографиях о сегодняшних интерпретациях прошлых опытов или это прагматические рассказы социально обусловленного Я? Несмотря на разнообразие мыслимых предметов социологического биографического исследования, речь идет об исследовательском поле, в котором разные исследователи апеллируют к совместно разделяемому *fundus* фоновых методологических диспозиций. Методологическая докса¹ внутри поля биографических исследований возникает как ответ-отграничение от других комплементарных подходов — социологии жизненного пути и Устной истории².

Если давать дефиниции, то биографический метод охватывает способы измерения и оценки историй жизни, рассказанных или сообщенных свидетелей о жизни с точки зрения тех, кто эту жизнь прожил. То, насколько биографическое исследование включает/привлекает другие виды данных — например, данные опросов, протоколы наблюдений, гражданские акты, семейно-исторические документы, семейные фото-

¹ Докса — общепринятое мнение, представление.

² Устная история (Oral History) — направление междисциплинарных исследований социальной истории, построенное на фиксации, систематизации и изучении свидетельств очевидцев исторических событий.

графии и т.д., — не входит в дефиницию рабочего поля и зависит от дизайна исследования.

Социологическое биографическое исследование, возможно, начинается с развенчания убеждения в том, что темой является не биография, а жизненный путь. Социология жизненного пути схематизирует свой предмет как последовательность секвенциональных событий в порядке объективного времени и задается при этом вопросом о формах и изменениях в социальном регулировании жизненных путей [Kohli, 1985; Maueg, 1990]. В этой перспективе жизненный путь считается хотя и результатом субъективных решений, но все же зависящим от социально-структурных признаков, возрастных когорт и исторических событий, так что течение жизни предстает как факторизируемая социальная форма. Соответственно анализируется не отдельный жизненный путь, а статистическая агрегированная совокупность жизненных путей. Биографическое исследование отличается тем, что интересуется носителем биографии в его сингулярности. События жизни между рождением и моментом X представляются не в последовательности, а в их внутренней упорядоченности, т.е. мотивированности и субъективном придании смысла. Поэтому отношения жизненного пути и биографии инверсивны: подключение смысла выключает объективность, и наоборот. Между обоими исследовательскими направлениями — методологический тупик: на одной стороне — методы, которые претендуют на постижение субъективного смысла носителя биографии, а на другой — требование объективного анализа жизненных путей.

Кроме того, обращение к биографиям как методу сбора социально значимой информации является отражением определенных исторических изменений в социальной жизни. Общевропейский процесс модернизации может быть описан в том числе и как процесс субъективирования/индивидуализации жизни (как распечатывание ранее закрытых полей, интернализация постматериальных ценностей, тенденции приватизма и т.д.), и в русле этого процесса биография становится центральным социальным измерением [Kohli, 1991]. В противовес представлениям о «конце индивидуума» другие социологи утверждают, что процесс индивидуализации сегодня продолжается и охватывает даже те социальные группы (например, женщины), которые ранее стояли на его обочине [Beck, 1993]. В результате многочисленных дискуссий стало ясно, что концентрация на субъективности не разрушает социологическую перспективу. Когда говорят об индивидуализации, речь идет не о росте меж-

индивидуальных различий, а о растущем социальном значении индивидуальности или, парадоксально, об индивидуальности как исторически новой форме обобществления [Robert, 1983].

Биографическое исследование перекликается с упомянутым выше направлением качественных исследований — Устной историей, которую можно в широком плане определить как сбор устной информации участников или очевидцев событий, осуществляемый подготовленными специалистами (историками, культурологами, социальными исследователями) с помощью звукозаписывающей техники. В Oral History биографии могут, но не должны играть роль доминантного источника информации. Могут быть использованы и другие источники (газетные статьи, дневники, письма, фотографии, опрос свидетелей, нарративные отдельные интервью и т.д.). Эта плюралистическая техника делает метод Oral History открытым для очень широкой сферы применения. В центре же биографического исследования — изучение течения всей жизни человека, ее внутренней динамики, ее «встроенности» в социум, субъективного управления и приобретенного опыта. При этом биографическое исследование имеет, согласно М. Коли, свои нормативные требования: оно должно отражать взгляд на жизнь индивида в целом; учитывать взаимосвязь индивидуальной истории жизни и истории общества; осмысливать интерпретационную активность актеров повседневности.

Как свидетельствует история социологии, биографии привлекли внимание концептуально и эмпирически те парадигмы, которые сосредоточены на феноменолого-интерпретативных направлениях. Так называемые большие социологические теории проявляют минимальное внимание к историям жизни, хотя многие западные повторные исследования — например, по молодежи по заказу Shell — из года в год сопровождают репрезентативный опрос нарративными интервью, портретирующими актуальный типологический профиль современной молодежи.

Предыстория биографического метода связана с чикагской школой 20-х годов XX в. в США, с так называемой социологией биографических конкурсов в Польше, психологией в Австрии. Знаменитое исследование о польских крестьянах в Европе и Америке, вышедшее в 1918–1920 гг. под соавторством чикагского социолога В.И. Томаса и его польского коллеги Ф. Знанецки, развивало тезис о развале сельской общины и индивидуализации ведения хозяйства. Макросоциологическая проблема миграции рассматривается здесь через призму изменений в крестьян-

ских «первичных группах» семьи и общины (в экономических, культурных, религиозных и классовых аспектах). Аналитическая лейтмотивная концепция как для реконструкции социального развития Польши, так и для групп мигрантов в Америку — это дезорганизация первичных групп, их социальная и политическая реорганизация. Исследование эмпирически базировалось на документах, имеющих реальное социологическое происхождение, на оригинальных коммуникативных продуктах процесса социальной интеграции (семейные письма, документы и письма в организации). Социальные изменения исследовались авторами на стыке «социальных ценностей» и «установок» личности, а развитие личности рассматривалось как результат влияния социальных ценностей на совершенные действия. Несмотря на критику интерпретативного подхода Томаса и Знанецки, которая может быть сформулирована исходя из возможностей современной социологии, их заслуга состоит в том, что они придали биографическим данным статус значительного социологического и социально-психологического документа, более того, сформулировали соответствующее методологическое кредо: «Мы уверены, что личностные сообщения о жизни — полные, насколько возможно — представляют лучший тип социологического материала» [Thomas, Znaniecki, 1958, т. II, р. 1832]. Известно это исследование и методологической посылкой, согласно которой в социологии должны учитываться объективные и субъективные факторы воздействия: если не принимать во внимание анализ «мира представлений» отдельных людей, нельзя объяснить, почему различные люди по-разному реагируют на конкретный феномен. Эти размышления позднее стали известны как «теорема Томаса», или «гуманистический коэффициент» [Znaniecki, 1969, р. 139].

Из чикагской школы в социологии вышло целое направление биографических исследований: изучение культурной проблематики групп иммигрантов, образа жизни преступников и девиантных групп, генезиса преступлений в истории жизни, проблем урбанизированного общества, особенностей этнической, языковой и культурной дивергенции. Среди использованных в этих исследованиях первичных данных — автобиографии и биографические интервью, письма, акты о попечении и документы государственного контроля, протоколы включенных наблюдений меньшинств и отклоняющихся групп. Если одни биографические данные использовались лишь иллюстративно, то другие методично сравнивались с иными личными документами. Например, К. Шоу в исследовании молодых правонарушителей сравнивает автобиографии с дан-

ными о тех же индивидах из других источников. В 30-е годы в американской социологии биографический метод пребывает в упадке, поскольку методологически был девальвирован контраргументами, выработанными в противоположном лагере количественной социологии. Соответственно этой логике все методы оценки и научного вывода, которые не следуют статистическим закономерностям, признаются ненаучными, либо им отводится эксплоративная или иллюстративная задача в рамках количественного исследования. Как утверждает представитель французской школы биографических исследований Д. Берто, причина заката в том, что представители биографического метода чикагского периода защищали его не в полную силу и не противопоставили статистическому расчету никакую качественно-типологическую логику исследования; этот спор окончился почти полным разгромом при столь ярко начавшемся развитии метода в США [Bertaux, 1981, p. 5].

Тем не менее в принадлежности к американской школе социальных исследований могут быть названы еще примеры качественных междисциплинарных исследований середины и второй половины XX в., методические уроки которых вбирает дискурс биографических исследований. Это мегапроекты хотторнских экспериментов Ф. Ротлизбергера и В. Диксона, исследований мотивации Мак-Клеланда с коллегами, исследования балинезийского характера и социализации на Бали М. Мид и Г. Батсона.

«Менеджмент и рабочий»

В основе этой работы — многолетние (1927–1933 гг.) исследования по заказу Western Electric Company на заводе Hawthorne близ Чикаго [Roethlisberger, Dickson, 1939]. Их отличает методический плюрализм: эксперименты в течение двух лет с вариациями условий труда и измерением трудовых достижений как зависимых переменных; опрос 21 тысячи рабочих, причем методика опроса менялась в сторону ее гибкости; систематические наблюдения в течение полугода трудового поведения на рабочем месте. Уроки этих экспериментов можно свести к двум измерениям:

1) *содержательные*: дискуссии в индустриальной социологии сместились от homo oeconomicus к social man. Социальные отношения на рабочем месте стали дискурсом. Тематизировалось также различие формальной и неформальной организаций;

2) *методические*: исходная позиция исследователей была связана с тейлористской традицией и экспериментальной, прикладной психологией. Но открытость исследователей реально происходящему привела к методическим инновациям: к переходу от опроса с заданными формулировками и категориями оценки к открытому разговору. Достаточно инновативна тогда была и интерпретация трудового поведения в качестве социального.

Исследования мотивации

Мак-Клеланд с коллегами предпринял попытку объяснить социальные феномены с помощью психологических теорий и эти объяснения проверить методами психологии [McClelland, 1961]. Его подход может быть проинтерпретирован как парадигма взаимосвязи качественного (содержательно-аналитического) метода сбора данных с количественными (статистическими) методами оценки данных. В построении метода измерения мотивации он стремился к анализу мотивов независимо от мотивированного поведения: был разработан тест мотивации к достижению/успеху. Центральная предпосылка исследования заключалась в том, что мотивация достижения является одним из факторов экономического роста (отсылка к этике протестантизма М. Вебера и исследованиям Уинтерботтома). Проверка этой гипотезы была разбита на три группы исследований: 1) взаимосвязь групповых масштабов тестовой величины достижений с общеэкономическим развитием страны; 2) взаимосвязи между мотивами и ценностями матерей и мотивом к успеху у сыновей; 3) мотивы и поведение предпринимателей. Результаты подтвердили исходную гипотезу Мак-Клеланда. Так, высокий «мотив национального успеха» может прогнозировать экономический рост. В анализе же родительских ценностей и мотивации достижений у сыновей были выделены три фактора: предпосылками успеха сыновей являются высокий стандарт успеха родителей, тепло отношений и недоминирующий отец; сыновья должны испытывать уважение к отцам; достижительный мотив оказался выше у протестантов и иудеев, чем у католиков. В целом, как утверждает Мак-Клеланд с коллегами, предприниматели больше ценят ситуации, где они несли личную ответственность в решении проблем и хотели подтверждения (деньги) тому, что они хорошо работают.

«Балинезийский характер»

Г. Батсон и М. Мид объединили в этом исследовании две «классические» национальные традиции антропологии — британскую и американскую, уравнив способность к абстрагированию и гносеологический акцент первой со склонностью к эмоциональным, эстетическим и когнитивным факторам второй [Bateson, Mead, 1942]. Благодаря этому симбиозу стали возможны этнографический анализ взаимосвязи культуры и социализации на Бали, специфический качественный подход и способ презентации материалов. Задача этого качественного исследования: изучить социально-культурные порядки, т.е. как и каким образом балинезийцы практически осуществляют то, что называют балинезийской культурой. Особое место в методологии занимает понятие этоса как «выражения культурно стандартизированной системы организации институтов и чувств индивидов». В поисках основных образцов балинезийской культуры М. Мид и Г. Батсон обнаружили коллективную установку на уклонение от крайностей, стремление к упорядоченной симметрии и равновесию. Для исследовательского стиля этой работы характерна роль стенографов происходящего. Чтобы заставить культуру «заговорить», парадоксально, они фотографировали, снимали фильмы (невербальные методы) для фиксации и описания социальных действий (подзаголовок этого труда «Фотографический анализ»).

Для анализа материала они вводят понятия фенотипа и генотипа, расположенных в различных логических горизонтах, поскольку обилие фенотипических подробностей еще мало говорит о систематическом, воспроизводимом культурном образце. Методически принцип сбора данных отвечал установке на максимизацию вариативности предмета, многообразии контрастирующих типов данных. Целью же являлась интерсубъективность, а не объективность. Поэтому способ подачи материала учитывал триаду «предмет—исследователь—читатель», где последний выступает в качестве соаналитика. Тем самым валидность становится социальным продуктом, а валидизация — попыткой привлечь читателя к разговору.

Европейская линия биографических исследований развивалась в ином ритме. Так, в Польше Ф. Знанецки выпустил в 1921 г. первое собрание письменных автобиографий. Там этот исследовательский метод закрепился в культурной форме публичных конкурсов биографий как дискурсивное признание использования биографических свидетельств.

Как резюмирует П. Томпсон [Томпсон, 1993, с. 60–61], характерным для этой польской линии биографического метода было то, что она вышла за пределы научного обсуждения и стала культурным движением, так как к обсуждению тем национальной и общественно-политической значимости были привлечены социальные группы через медиум автобиографий. Более того, утверждается, что биографический метод способствовал росту самосознания этих социальных групп (крестьяне, выходцы из экономических депрессивных областей, женщины и т.д.), и их дискурсивные позиции становились общественно значимыми. Если, как полагает Фукс-Хайнритц [Fuchs-Heinritz, 1998], немецкая социология в 20-е годы не присоединилась к американским «качественным» инициативам преимущественно из-за методических возражений против ценности источников — автобиографий, возникших в рабочем движении, то венским психологам Карлу и Шарлотте Бюлер удалось внедрить биографический метод в психологию и педагогику. Ш. Бюлер собрала дневники гимназической молодежи и осуществила их систематический анализ [Buehler, 1925; 1927], в том числе в перспективе сравнения поколений [Buehler, 1934] и в определении психологии течения жизни.

Венская линия биографических исследований была поддержана другим классическим качественным исследованием 30-х годов XX в. — «Безработные в Мариентале» [Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel, 1980]. Содержательная проблема исследования — безработица в Австрии — методологическая попытка объективно отобразить социально-психологические последствия этого факта. Особенностью дизайна этого исследования были отсутствие предваряющей теории и методического плана, список открытых вопросов и одно методическое условие (оно же — этический принцип): каждый исследователь, помимо задач познания, должен выполнять социально-конструктивную функцию в поле: каритативную, просветительскую, консультационную или педагогическую. Методические уроки «Безработных в Мариентале» суммированы П. Лазарсфельдом:

- 1) для охвата социальной действительности необходимо сочетание качественных и количественных методов;
- 2) должны быть замерены объективные факты и субъективные установки;
- 3) современные наблюдения должны быть дополнены историческим материалом;

4) должны применяться скрытые наблюдения за спонтанной жизнью и прямые, запланированные опросы.

Эта венская линия развития была прервана во времена национал-социализма, поскольку его центральная идеологема — раса, наследственность — чужда гуманистическому биографическому подходу. Далее, уже в середине 50-х годов, группа психологов во главе с Х. Томаэ занялась собиранием и интерпретацией биографических данных в проекте «Психологическая биографика» [Thomae, 1968, S. 103]. Особенностью этого проекта были долгосрочные наблюдения и анализ бюджета дня, попытка достичь своего рода полноты жизненно-исторического свидетельства. Правда, это осталось узкопарадигматическим достижением и не привело тогда к широкому распространению биографического метода в социальных науках. Подобное было характерно и для направлений медицинской биографики [Clauser, 1963], для автобиографий в педагогике [Henningsen, 1962], для этнографических историй жизни.

Из классических крупных качественных исследований в Европе, которые внесли вклад в развитие биографического направления, можно назвать также исследования авторитарной личности Т. Адорно [Adornj, Frenkel-Brunswick, Levinson, Sanford, 1950]. Эта во многом пионерная работа объединила на одной основе качественного подхода психоаналитические и социально-психологические вопросы. Развитие авторитарных структур личности эмпирически исследовалось с помощью анализа отдельных случаев, проективных методов, качественного (клинического) интервью, а также стандартизированных инструментов измерения, шкал антисемитизма, этноцентризма, F-шкалы и шкалы анализа политэкономических идеологий. Центральным концептом были немецкие работы «Исследования авторитета семьи», «Бегство от свободы» Фромма и американская «Авторитарная структура личности» Маслоу. При этом понятие «авторитарный» в исследовании понималось расширительно: не только как авторитарная доминантность, но и как авторитарное подчинение с большим акцентом на втором аспекте. В рамках клинических полуструктурированных интервью изучался генезис предубеждений. Лейтмотив интервью содержал спектр вопросов о социальном статусе, о профессии, о семейных отношениях, об отношении к родителям, родственникам, себе самому, политические и религиозные вопросы. Отбор респондентов зависел от их ответов в стандартизированном опросе со шкалами антисемитизма и этноцентризма. Таким об-

разом, проведению интервью предшествовала процедура количественного опроса.

Послевоенный период в европейском социологическом контексте биографии привлекал внимание исследователей в основном для иллюстративных целей. И только в конце 70-х годов одновременно в Германии, во Франции, в Канаде, Италии и в других странах возникает ренессанс биографического метода. Совершенно различные научные дискурсы — социология, клиническая социология, этнография, антропология, психология, социология гендера, этнология, визуальная социология — пересекаются, составляя сегодня развитую и интернационально распространенную сферу биографических исследований. Более того, в социологии говорят о «конъюнктуре биографического исследования в 80-е и 90-е годы» [Nassehi, 1996, S. 130]. Этот ренессанс метода уже не сопряжен с прежним ресентиментом, поскольку адепты биографического метода вынуждены прилагать больше усилий для его методологического обоснования, чем это делали, например, Ф. Знанецки и У. Томас. Другой оптимизирующий фактор связан с тем, что социологическая биографика наследует теоретическим усилиям социологии жизненного пути, в рамках которой самостоятельно сформировалась исследовательская потребность в присоединении реабилитированной субъективности и расширенном понимании социализационных процессов. По совокупности эти тенденции создают шансы для институционализации биографических исследований и широкого применения в социологии.

В потоке биографических исследований конца XX в. в Европе Х. Буде [Bude, 1984] выделяет в основном четыре направления:

1. Исследования социальной обусловленности жизненных путей. Это, например, исследования профессиональных биографий [Дерре, 1982], разделенных/не разделенных по гендерному признаку; социодемографические когортные исследования. Здесь в центре внимания социальные механизмы регулирования жизненных траекторий, увязывающие возрастную дифференциацию, социально-классовое расслоение, конъюнктурные циклы и кризисы, а также исторические события.

2. Исследования, нацеленные на реконструкцию социального опыта и его смысловых структур. Это исследования сознания рабочего класса [Vertaux, 1980], коллективного исторического сознания [Niethammer, 1991], субкультурных стилевых форм и др. Эта исследовательская стратегия ведет к уяснению способа построения личного опыта и внутренней структуры матриц объяснения/толкования.

3. В отличие от предыдущих направлений, нацеленных на реконструкцию связного личного опыта и господствующих в социуме смысловых структур, можно выделить и такие, которые направлены на изучение генезиса образов опыта и смысловых структур, например, на изучение того, как происходит процесс социализации и интернализации культурных образцов (Ф. Шютце — о поколении эпохи национал-социализма [Schuetze, 1989; 1992]).

4. Следующий путь эмпирического биографического исследования служит обоснованию теоретических концепций, например, в психологии развития, в теории личности, психопатологии. В качестве результата здесь выступает эмпирически обоснованное знание о природе психического и социального поведения.

В России импульсом к развитию биографического метода послужило исследование биографий семей под названием «Век социальной мобильности в России», инициированное французским социологом Д. Берто и возглавленное В.В. Семеновой. В рамках этого проекта с участием В.В. Семеновой, В.Ф. Журавлева, Е.Ю. Мещеркиной, С.М. Рождественского, Е. Фотеевой, М.М. Малышевой реконструировались индивидуальные стратегии трех поколений семей, жизнь которых иллюстрирует бурные события XX в. [Судьбы людей: Россия XX век, 1996]. К этому методу также обращались в своих исследованиях Н. Козлова, Е. Трубина, А. Готлиб, Н. Цветаева, И. Голубович, В. Безрогов, О. Кошелева, Е. Здравомыслова, А. Темкина, А. Вардоматский, Е. Ярская-Смирнова, В. Голофаст, В. Нуркова, И. Разумова, С. Чуйкина.

В методологическом плане начиная со структурирования биографического опыта явна теоретическая связь социально-конструктивистской парадигмы [Бергер, Лукман, 1995] с таким понятием в биографическом подходе, как жизненная конструкция (или конструкция жизни). Исследователь социальных биографий (генеалогий, жизненных путей, траекторий, историй, рассказов и т.д.) исходит из того, что жизнь личности пронизана определенным способом конструирования. Все события в жизни индивида не являются ни чисто случайными, ни результатом воплощения чисто субъективных замыслов. Личностная активность определенным образом упорядочена, подчинена определенным правилам. Эти правила неосознаваемы в отдельных действиях, а сфера их влияния — жизнь в целом. Неосознанность подчинения определенным социальным правилам в повседневной жизни отражает парадоксальную структуру субъективных действий: человек выражает в своих действиях

больше смысла, чем субъективно полагает. Эта парадоксальность несколько размывается, если будем различать два модуса субъективной жизни: скрытый интенциональный способ выражения событий в субъективной жизни и рожденное опытом осмысление связи между событиями в жизни субъекта. Различие интенций личности и интернализуемого смысла весьма плодотворно в методическом плане, поскольку можно исследовать логику целеполаганий независимо от теоретических схем, связанных с понятиями идентичности, Я-концепции и т.д. То есть понятие жизненной конструкции (конструкции жизни) основано на скрытых способах выражения индивидуальной жизни, а не на субъективных взглядах, планах, самопонимании субъекта. Поэтому в ходе интервью исследователь провоцирует респондента на рассказ о событиях, фактах и менее всего на оценку и комментарии, зачастую привлекаемые для сокрытия истинного смысла произошедшего. Жизненные конструкции лежат в основе повседневной активности индивида как «социально валидные правила когеренции» [Bude, 1984, S. 12]. Именно благодаря им возникает чувство интуиции, дающей понимание взаимосвязей социальной жизни. В методологии биографического исследования понятию жизненной конструкции соответствует методический прием так называемой структурной реконструкции, по Х. Буде, объединяющей поиск социального содержания в биографическом материале со следующих точек зрения: 1) *герменевтической перспективы*, поскольку ищется доступ к пониманию смысла субъективной жизни; 2) *структуралистской перспективы*, поскольку в поле анализа находится система смысловых координат; 3) наконец, *социологической перспективы*, так как постулируется социальная типика скрытых смыслов. Возникает закономерный вопрос: каким образом от «реконструкции» отдельной биографии можно прийти к заключениям, релевантным для социальной системы в целом? Ведь в социальных науках распространено представление о том, что утверждения социальной типики возможны лишь с доказательством средней частоты данного случая. В то же время в среднем частое поведение может и не отражать закономерно упорядоченное социальное содержание случая. Так, например, Л. Колберг в своих исследованиях развития моральных суждений показал, что два идентичных по содержанию ответа на один моральный вопрос могут следовать совершенно различным формам моральных суждений [Kohlberg, 1974]. И наоборот, содержательно различные ответы могут вытекать из идентичной структуры морального суждения. Таким образом, закономерность морально-

го суждения здесь вовсе не зависит от частоты определенной содержательной реакции на моральную проблему. А определение частоты определенных моральных комментариев не может вести к доказательству социальной закономерности моральных суждений. Для этого необходимы иные подходы. Что касается биографического исследования, то здесь социальная типика познается в образе конституирующих ее моментов, которые социолог отделяет от ситуативных «остаточных факторов». Улавливание типики индивидуального случая еще ничего не говорит о частоте его появления, т.е. о его репрезентативности. Но «историческая редкость не является контраргументом, историческая регулярность не является доказательством закономерности, поскольку понятие закономерности строго отделимо от регулярности, а понятие неукоснительности закона — от понятия исторической константности» [Levin, 1930, p. 450]. Таким образом, типика в биографическом исследовании и репрезентативность далеко не одно и то же. Основная же проблема, которой озабочены исследователи, использующие биографический метод, заключается в том, каким образом из конкретной биографической истории вылущить эти «конституирующие социальную типичку моменты», или, по словами Ф. Шютце, «когнитивные фигуры». Не менее увлекательна для исследователей и проблема того, при каких условиях индивид «примеряет», перенимает типичную жизненную конструкцию, внося в нее индивидуальное своеобразие, каким образом вообще складывается тот или иной социальный тип...

Структура монографии охватывает полный цикл биографического исследования — от постановки задачи биографического исследования до ее реализации. В первой главе, предваряемой экскурсом в социологию жизненного пути и Устную историю, биография анализируется как социальный феномен и конструкт, сравнивается с категорией жизненного пути, взвешиваются пересекающиеся объемы понятий биографии и идентичности, рассматриваются особенности биографической памяти. Во второй главе анализируются особенности биографической нарративной формы, социально обусловленные нарративные стратегии респондентов, представляется авторский концепт нарративной идентичности как продукта нарративного интервью. В третьей главе, предваряемой общими для качественных исследований методологическими принципами и описанием стадий исследовательского процесса, раскрываются концептуальные версии и стратегии биографического интервьюирования с точки зрения спорного методологического принципа «гомо-

логии пережитого рассказанному», различные типы интервью, условия «качества» или надежности качественных исследований. В четвертой главе рассматриваются методологические подходы к анализу визуальных документов как источника биографической информации, анализируется структуризация визуального на примерах фотоизображений. В пятой, эмпирической, главе анализируются отдельные кейсы — нарративные интервью на тему социальной, этнической, политической, гендерной, телесной идентичности, социализации, а также представлены коллекции интервью (коллективные биографии) в традициях Устной истории из исследовательской практики автора. В заключение подводятся итоги и описываются перспективы биографического метода в социологической исследовательской практике.

Глава 1

От жизненного пути к биографии

Самопрезентация и самописание индивидов приняли в современных обществах форму биографии. Благодаря биографической самопрезентации мы находим доступ не только к процессу интернализации социального мира в процессе социализации, но и к правилам упорядочения биографического опыта, выкристаллизовыванию его образцов с целью актуальной и будущей ориентации в социальном мире. Понять и изобразить себя в собственном развитии и изменении, описать эти процессы с учетом наблюдающих и оценивающих партнеров по интеракции — все это совмещено в концепции биографического как диалектике индивидуального участия и институционального влияния. Для ориентации в современном социальном мире уже недостаточно факта принадлежности к определенному классу, обладания социально-профессиональным статусом (в силу размытости их понятийных границ). Биография интегрирует различные жизненные практики в единое целое и вследствие этого принадлежит к основным средствам ориентации и интеракции во множестве социальных ситуаций.

Через разные формы биографий современные общества решают важные проблемы социальной интеграции, которые растут по мере увеличения социальной дифференциации. Вследствие социального контроля индивиды и социальные институты попадают под мощный пресс воспроизводства биографических структур. Собственно социальное биографическое исследование и направлено на то, чтобы изучить и реконструировать биографические ориентации и формы упорядочения биографий в коммуникации и институциональной сфере. Биографизирование как деятельность по построению и осмыслению жизненного пути возможно в первую очередь благодаря повседневной коммуникации, в разговорах/интеракциях друг с другом, поэтому биографические образцы являются не индивидуальным, а социальным достижением. Это стимулировало привлечение интерпретативных методов анализа текстов в социальную исследовательскую практику.

Особого уточнения заслуживает проблематика взаимоотношений между биографическим исследованием и общей социологией, поскольку из институционализации социальной биографики вовсе не вытекает ее «мирное» сосуществование с более широким парадигматическим полем. И здесь повинен прежде всего парадокс в производимых данных. Биографические интервью, автобиографические документы не выводят напрямую на те сведения, на поиск которых нацелена социология. Скорее, напротив. В социальной биографике речь идет о самоидентификациях, а не об описаниях социальных отношений или о связях между событиями, не о протоколах социальных процессов. В автобиографическом тексте рассказчик, он же носитель биографии, хочет рассказать свою жизнь не только как «член общества» и показать, что он не просто «исполнитель ролей». Поэтому в данных, производимых в биографическом исследовании, прячется «антисоциальный» жест, соответственно несоциологическое содержание. В биографии и с помощью биографии индивиды противоречат своим социальным сообществам. Этот жест обнаруживаем в той форме самоидентичности в автобиографии, в которой индивидам удастся осмыслить и описать свою жизнь и ее значение независимо от истории общества в целом. Однако этот парадокс не только формирует собственно дилемму, но и содержит важное указание на суть дела: индивиды в современных обществах заняты утверждением своей индивидуальности, не полагаясь на общество, не удовлетворяясь лишь ролью члена общества.

В работах патриархов социологии от Конта к Спенсеру, Дюркгейму, Марксу, Зиммелю и до Вебера мы найдем проблематику взаимоотношений индивида и общества как основную, лейтмотивную линию, но индивид воспринимался в этих теоретических подходах в большей мере статично, более того, вне собственной, им самим изобретаемой процессуальной формы. Основной вопрос социологии формулировался как доказательство социальности жизни и социальной обусловленности индивида. «Я», «как организатор своего процесса жизни», оставалось этой программе социологических классиков чуждо [Kohli, 1989, S. 504]. Правда, в одном из своих последних сочинений Г. Зиммель приходит к идее «индивидуального закона», приближающегося к социальной биографике, но не возымевшего теоретических последствий из-за отсылки к моральной философии. Фактически только американские интеракционисты (Ч. Кули, Дж. Мид) и исследователи чикагской школы сформулировали ясное представление об индивидуальной жизни как о соб-

ственной и самовоспроизводимой структуре. Но истории жизни как материал для исследований и биография как концепт остаются, за исключением интеракционизма, дальним полем интереса для больших социологических теорий, воспринимающих биографическое исследование как малоформатное, почти провинциальное на фоне глобальных социальных трансформаций, перманентных революций и смен режимов. Общая социология может унаследовать от биографического исследования знание о процессуальных формах биографии, об идентичности не как о субстанции, а как о процессе, представление о жизненной траектории как о взаимосвязи опытов и событий, разделяющее субъективный смысл и социальное давление.

§1. Жизненный путь и биография

Интерес исследователей к конструкту жизненного пути обусловлен основной тенденцией в социологии — поиском элементов, из которых складывается социальность, а также вниманием к структурам упорядоченной повседневности. Степень этой упорядоченности варьирует от жесткой институционализации до провозглашения эпохи индивидуализации. Но между «мрачной тюрьмой» (термин П. Бергера и П. Лукмана) и «обществом риска» (термин У. Бека) на самом деле много общего. Предложенный в 1975 г. на конференции Американской социологической ассоциации термин «жизненный путь» (life course) заместил распространенный термин «жизненный цикл». Это имело целью размежевание с представлением жизни как движения по кругу, когда в итоге возвращаешься к исходному. Иногда понятие жизненного пути связывают с понятием истории жизни или биографии: история жизни подразумевает жизненный путь, получивший форму истории, т.е. реконструированной последовательности значимых событий и рассказанной в качестве таковой.

Важный аспект теоретических представлений об отношении личности и окружающей среды обнаруживается в том, что индивиды не просто испытывают внешние влияния (в смысле недифференцированного освоения), но и интерпретируют, перерабатывают их. Здесь смыкаются позиции феноменологов, интеракционистов и когнитивных психологов: личности развиваются и изменяются во взаимодействии с задачами, с определением и решением проблем и рефлексивным взаимо-

действием со своим материальным и социальным окружением. Д. Гелен [Geulen, 1981] предложил в связи с этим различать три модуса интеракции субъекта и среды: усвоение объективно данного, избирательное движение субъекта сквозь социально структурированное поле и, наконец, изменение реальности поступками. С ним можно согласиться в том, что «в интеракции субъекта и реальности задействованы все три модуса, но в различной степени и различным способом... Субъект относится к реальности, частично активно ее преобразуя, частично находясь в избирательном поиске, частично лишь пассивно принимая эту реальность» [Geulen, 1981, p. 553]. Значение избирательности в цикле жизни особенно явно: взрослым в большей степени, чем детям, доступен выбор условий жизни и тем самым выбор контекста социализации (выбор брачных партнеров, мест работы, проживания, способа заполнения досуга и т.д.). Но ту же избирательность следует понимать как встроенную в определенные социальные структуры, где имеется не только простор для действий, но и такие феномены, как принуждение к действиям и цена свободы. То обстоятельство, что разбиение жизненного пути значительно варьирует в межкультурном сравнении и в историческом процессе, является исходным пунктом социологической концептуализации жизненного пути. В результате значительной институционализации жизненного пути, осуществляемой в интересах социального контроля, в современных обществах произошел ряд структурных изменений [Kohli, 1985; 1986].

- Развитие Модерна — это процесс хронологизации жизни. Сильно возросло значение жизненного пути/цикла как социального института. От одной формы жизненного пути, в которой возраст имел лишь категориальный статус, общество пришло к другой форме, в центре которой оказался структурный принцип протекания времени жизни. Другими словами, вместо преимущественно статично/ситуативно (через стабильную принадлежность) упорядоченной формы жизни возникла преимущественно биографически (через программу протекания времени жизни) упорядоченная форма жизненного пути.
- Хронологизация жизни в большей степени ориентирована на хронологический (календарный) возраст как основной критерий; социальный возраст в значительной степени совпадает с хронологическим. Через эту хронологизацию он приводится к стандартизованному «течению нормальной жизни». Здесь кумулируются два

эмпирических процесса: один из них заключается в возвращении к вариативности возраста, т.е. к более четкому профилированию отдельных возрастов как моментов разбиения жизненного пути, другой связан с ростом значения «нормального» (относительно профессии и семьи) течения жизни в отличие от других (отклоняющихся) течений.

- Хронологизация является также частью обширного процесса высвобождения индивидов из локальных связей домодерных форм жизни, т.е. частью новой программы обобществления, которая приложима к индивидам как к социальным единицам (процесс индивидуализирования).

- Эта трансформация режима жизненного пути произошла в процессе перехода от экономики домашнего хозяйства к экономике на основе свободного труда. В итоге жизненный путь организован вокруг системы занятости, что касается как ее внешнего образа — очевидного временного членения на фазы подготовки, собственно занятости и выхода на пенсию (детство/юность, активная жизнь взрослого, старость), — так и лежащего в ее основе организационного принципа. Иначе говоря, жизненный путь как институт является частью структуры общества труда.

- Система, регулирующая время жизни, существует на двух различных социальных уровнях: а) упорядоченной системы отдельных последовательных позиций («карьеры»), которые индивиды занимают или оставляют со временем, б) их биографической схемы ориентации. Соответственно жизненный путь как социальный институт означает, с одной стороны, регулирование секвенциальным (последовательным) течением жизни, а с другой — структурирование горизонта жизненного мира, на который ориентируются и в рамках которого планируют свои действия индивиды.

- На фоне заявленного тренда индивидуализации тем не менее прочной остается и тенденция институционализации жизненного пути, переплетаясь в некое парадоксальное сочетание. Институционализация создает стабильные фреймы, но почему вообще стабильность, непрерывность, например, профессионального пути — без пауз, разрывов — имеет такую привлекательность? Стабильные жизненные пути (особенно восходящие) имеют социально *интегративный* эффект: они мотивируют к достижениям и росту удовлетворенности. Стабильность социально-профессионального пути личности функ-

циональна для социальной структуры и в ином смысле: она создает предсказуемость действий и вынуждает систему к незатратным приспособлениям к новым состояниям. То есть структурно-функционалистский подход, представленный, например, Рили, Джонсон и Фонер, исходит из стабильности как идеального состояния системы. Но как раз стабильность и является теоретическим артефактом, и в задачи социализации входит приспособление к социальному изменению [Riley, Johnson, Foner, 1972]. Поэтому функционалисты пришли к дилемме: десоциализация, или выход из какой-либо роли, тем затратнее и результат ее тем неяснее, чем лучше личность была первоначально в этой роли социализирована.

На смену ограниченной ролевой модели пришла концепция социализации как «социального строительства» личности. При этом жизненный путь рассматривается не как последовательность привязанных к определенным возрастам ролей, а как цепочка фаз жизни, которые вместе с опытом приобретают в процессе социализации различное значение. Сложность моделирования этого процесса заключается в том, что значение отдельных фаз жизни определяется при учете всех остальных. Об этом упоминал еще Маннгейм, говоря об особом «наслоении пережитого» каждым поколением [Mannheim, 1980, S. 46], т.е. речь идет о сознании как о результате последовательных, хронологически приобретенных опытов. При этом он исходит из известного приоритета раннего детства, первые впечатления которого занимают особое место по отношению к позднейшим и имеют тенденцию запечатлеваться в качестве естественной картины мира, на которую впоследствии ориентируются позднейшие опыты — как позитивные, так и негативные.

Если понимать социализацию более широко (и эта точка зрения теперь превалирует), протяженностью в жизнь, то эмпирически достаточно сложно измерить эффекты изменения личности во взрослом состоянии. Частный пример тому в сфере политической социализации: обнаружение наряду с известными когортными также возрастных эффектов [Riley, Johnson, Foner, 1972]. Во всяком случае, одного признания важности детских впечатлений недостаточно для понимания жизненного пути в целом. Социализация может, по мнению М. Коли, идти по модели кумуляции, когда диспозиции, заложенные в ранних фазах жизни, усиливаются во взрослости, по модели компенсации, когда депривационные эффекты, пережитые в детстве, внезапно сказываются во взрослости, а может свестись к процессам взаимной акцентуации, т.е. социа-

лизации и селекции [Kohli, 1985, S. 19]. С социологической точки зрения важно эти различия сопоставить с внешним по отношению к личности источником изменений — социально-историческими условиями, приводящими к специфической истории отдельных когорт.

С помощью концепции когорт рассматривается, как известно, взаимоотношение исторического развития и жизненного пути. При этом макроистория сводится к последовательности формаций — доиндустриальное общество, постиндустриальное общество, общество позднего капитализма, общество постсоциализма и т.д. — и ориентировано в той или иной степени на эволюционную модель. Но будет справедливым сказать, что обобщенные высказывания тем надежнее, чем более они основываются на знании краткосрочных изменений. Исходя из этой перспективы, социология жизненного пути оправдана тогда, когда ей удастся получить знание о долгосрочных изменениях через краткосрочные и концептуализировать краткосрочные изменения как часть долгосрочного тренда. Связь исторического анализа, социальной дифференциации и практики социализации обнаруживается в следах важных исторических событий в биографиях соответствующих поколенческих групп/когорт.

На наш взгляд, если принять во внимание проблематику семейного цикла и полоспецифическую модель занятости, то очевидны тенденции деинституционализации жизненного пути. Снижение нормативной связности семейного цикла, демографические показатели малодетности, внебрачной рождаемости, разводимости, процесс сдвига образования семьи у молодых когорт на более поздние возрасты (явление второго демографического перехода, фиксируемого во многих европейских странах, в том числе в России) указывают на дестандартизацию. А значимые статистически явления отказа от рождения детей, или выбор альтернативных форм сожительства, или сознательное одиночество свидетельствуют о структурном сдвиге в сторону индивидуального выбора конфигурации жизненного пути и плюрализации жизненных образцов.

Описанные эффекты дестандартизации жизненного пути и известной эрозии, безусловно, должны были оставить последствия для формальной структуры жизненного пути. И биографические исследования действительно показали значительные изменения в последовательности (секвенцировании), timing (временной привязке) и темпе внутрибиографических переходов. Неизменным осталось трехчленное деление жиз-

ненного пути — на фазы подготовки, занятости и выхода на пенсию, но значительно интегрировались в понятие нормальной трудовой биографии варианты трудовых карьер с частичной, вторичной, мультизанятостью или прерывистой занятостью (особенно примеры «перфорированных» материнством профессиональных карьер у женщин). Намного дифференцированное стали и внутрибиографические переходы.

Неудивительно, что методическим ответом на возникновение этой проблематики жизненного пути стало развитие биографических исследований, в рамках которых делается попытка встать на точку зрения действующего субъекта и воссоздать тот мир, в котором он живет и который когнитивно конструирует. Этот мир имеет пространственные и временные характеристики, которые входят в биографическую реальность через описание топологии обжитого пространства и нагруженного смыслом времени. Тем самым социология биографии теоретически дает возможность объединить или предоставить методическое поле для исследований социологии пространства/телесности и социологии времени. Центральная социальная функция биографий заключается в производстве или концептуализации непрерывности жизненного пути, что возможно при особой модальности биографического опыта. Приобретая тот или иной жизненный опыт, действующий субъект расширяет свое предшествующее знание и повышает свою готовность ориентироваться в сложных или неожиданных ситуациях.

На рис. 1 отражено различное позиционирование биографии и жизненного пути как описательного баланса времени жизни, а также схем и паттернов жизни как задумываемого проекта повседневного времени. И хотя теоретическая схема проводит четкую границу между субъективным временем биографии и социальным временем, структурирующим жизненный путь, темпоральный аспект биографии делает эту границу лабильной.

Наслоение жизненных практик в биографии объективирует приобретающие социальное значение индивидуальные жизненные образцы (удачные/неудачные карьеры, успешные/неуспешные браки, миграция, стратегии выживания и т.д.), «отдавая» их в пространство наследуемого социального опыта и изменяющегося социального времени. Это процесс превращения субъективного в интрасубъективное и далее в объективированное, процесс выкристаллизовывания социальности.

В понятии опыта заложен двойной временной горизонт прошлого и будущего. Опыт создает такие типизации, которые одновременно за-



Рис. 1. Биография и время

крепляют и «разбавляют» для применения в будущем прошлые фиксации событий. В двойном горизонте прошлого и будущего прошлое изменчиво, оно подвергается реинтерпретации в той мере, в какой это требует актуальная Я-концепция. Будущее приобретает конкретные черты в той степени, в какой оно наполняет горизонт ожиданий. Тем самым реинтерпретация прошлого и конкретное наполнение будущего являются различными аспектами биографической перспективы. Важно отметить, что ее конструирование — заслуга не только одного индивида, а производная от совокупной деятельности многих индивидов, получившая объективированную форму социальных биографических схем. Чтобы организовать свою биографию, индивид рутиннообразно вовлекается в хронологию течения нормальной жизни. Примечательна при этом временная асимметрия. В воспоминаниях реконструкция собственного прошлого увязывает хронологию жизненного пути с хронологией общества. Для индивида естественно, что он постоянно «переводит» протекание времени своей жизни на социально-историческое времяисчисление. Обе хроно-

логии соединяются воедино. В пору больших исторических событий, войн, потрясений, экономических депрессий историческая хронология фактически заменяет индивидуальное членение жизненного пути. Пример из интервью: «В каком году родилась дочь?» — «Это было два года спустя после отмены продовольственных карточек, стало быть, в 1949 г.».

Но в предвосхищении будущего историческая хронология не играет никакой роли, будущее еще закрыто для социального опыта. Историческая хронология может быть привлечена для организации биографии только в том случае, если наполнена определенным опытом. Действия индивида, ориентированные на открытое будущее, опираются на типичную структуру опыта, заложенную в программе обобществления. В русле тенденций дестандартизации эта программа подвергается определенной эрозии, когда социальные нормы могут утрачивать характер «интерсубъективных маркеров» для субъективных биографических путей. Итак, логическим образом интерес к жизненному опыту индивида, вобравшему интернализированную историю, был продлен на концепцию жизни в целом, на биографию. Так, в развитие социологии жизненного пути стал складываться дискурс биографических исследований, которые стимулировали интерпретативный жанр тематического описания личности, позволяющий организовать жизнь во временном аспекте, а также в плане участия в различных социальных институтах. Этим жанром и является биография.

§2. Психологическая биографика

В этом параграфе мы представим теоретические ресурсы и методологическую дискуссию, которые раскрывают меру интереса психологии к биографии и соответственно тот вклад, который внесла психология в изучение истории жизни под своим специфическим дисциплинарным углом зрения.

Прежде всего необходимо различать собственно социологическое биографическое исследование, чем мы и займемся в последующих главах, далее, биографические методы в психологической диагностике и, третья, биографический метод как исследовательское психологическое направление. Если под первым направлением мы понимаем биографический рассказ как путь к пониманию социальной действительности, а также использование этого рассказа для характеристики самого рассказ-

чика и его жизненного мира, то под биографическими методами в психодиагностике, вслед за Р. Егером, будем понимать «такие инструменты, с помощью которых может быть целенаправленно получена диагностически релевантная информация об индивидуальной истории (жизни) носителей признаков» [Jaeger, 1996, S. 325]. В качестве биографического метода в психологической биографии понимаются «все способы приближения к человеческому поведению, его внутреннему обоснованию и его влиянию на культуру, общество и природу, которые рассматривают не разовый контакт, а по возможности интенсивное сопровождение описываемого и объясняемого феномена как достаточное условие для обоснованного мнения о нем» [Thomae, 1999, S. 76]. Психологическая биография, особенно в ее психодиагностической части, ориентированной на данные, измеряемые благодаря стандартизированному опроснику или контролируемому эксперименту, заметно отличается своими строгими научными стандартами от социологической биографии. Возможно, для этой сферы проблематика противоречия между идеографическим и номотетическим подходами¹ наиболее явна, более того, существует угроза абсолютизации номотетического принципа, превращаемого в «номократию». Еще К. Ясперс упоминал, что «воссоздание жизни целиком ... это основа эмпирико-клинического исследования. В психиатрии нельзя ничего понять без описания отдельных случаев», а Э. Кречмер заостряет эту мысль почти в афоризме: «То, что мы достигаем в систематике, мы теряем в понимании» (цит. по: [Juettemann, Thomae, 1998, S. 103]). Одновременное следование идеографическому и номотетическому подходам, т.е. возможность работать и причинно-каузально, и статистически, многообещающе, но трудновыполнимо. Психологическая биография приносит в социологическую интерес к биографии в целом, анализ стадильности биографической структуры, процессуальности индивидуального развития, когортного жизненного опыта как реакции на социально-исторические события, тематизацию соматических реакций и их связи с сознанием, а также эмоции и переживания. Соответственно наибольший интерес у нас вызывает ответвление психологии развития как объединяющей эти аспекты субдисциплины.

¹ Номотетический подход трактует личность как набор свойств, подлежащих выявлению и измерению, как общие для всех людей свойства личности, стандартизированными методами в отсылке к норме. Идеографический подход понимает личность как целостную систему и нацелен на распознавание индивидуальных особенностей личности проективными методиками и идеографическими техниками.

Но прежде о теоретических основаниях. Существенный вклад в развитие психологической биографики внесли ряд эксплицитных и имплицитных теорий, многие из которых следовали тезисам психоанализа о взаимосвязи между определенными раннедетскими опытами и последующим течением жизни. Сегодня модифицированная психоаналитическая биографика в наибольшей степени ориентируется на М. Эриксона. Другие доказывают с помощью биографий эндогенно сформированную структуриацию жизненного пути по фазам и ступеням — как, например, Ш. Бюлер [Buehler, 1929]. Иные исходят из теории стабильности личности и используют биографический подход для прогноза будущего поведения. Деятельностные концепты в основе биографических методик применяются в психотерапии. С помощью этих методик высвечиваются смысловые связи, подлежащие когнитивной перестройке, и тем самым стимулируется выработка мотивов действия в контексте мотивационной системы, направленной на коррекцию поведения.

Близка этому деятельностному направлению нарративная психотерапия, представленная Дж. Фридман и Дж. Комбс, М. Уайтом и Д. Эпстоном [Фридман, Комбс, 2001; White, Epston, 1990]. В российском контексте это направление развивает Е. Жорняк [Жорняк, 2001]. Рассмотрим несколько подробнее этот вопрос ввиду близости нарративной психотерапии к биографическому исследованию. Нарративная терапия предлагает индивидам возможность рассказать реальные и переписать предпочитаемые истории своей жизни; превратить противоречивые, вроде случайные события их жизни в значимые эпизоды альтернативного сценария жизни; развить этот сценарий во времени как резервуар альтернативных позитивных знаний и умений, которые присутствуют в этих новых выражениях опыта. Лингвистическая практика помогает индивидам отделить себя от своих проблем, вернее, от нагруженных проблемами историй, которые они воспринимают как собственную идентичность, посмотреть на них со стороны, оценить свои отношения с проблемой и попытаться взять на себя больше ответственности за характер этих отношений, почувствовать себя способными в большей степени определять эти отношения. Эта лингвистическая практика и одновременно базовая техника нарративной терапии называется *экстернализацией*. Иногда осуществляется персонификация проблемы, когда ей приписывается имя или она наделяется собственной идентичностью, что приводит к эффекту отстранения и отчуждения от нее. Важным условием успеха этой терапии является то, что язык описания проблемы, ее

поименование должны исходить от клиента. Названная и отделенная проблема тщательно изучается и персонифицируется, нарративный терапевт расспрашивает о «ее» тактиках, способах взаимодействия и коммуникации с индивидом, о «ее» намерениях, планах, друзьях и врагах, желаниях, мотивах и т.д. Следующий этап нарративной психотерапии — деконструктивная беседа, нацеленная на рассмотрение отчужденной проблемы в различных контекстах, что может привести к ослаблению «само собой разумеющихся идей» и нарративному проектированию пространства для альтернативных историй жизни, которые в состоянии освободить индивида от власти проблемы и тем самым восстановить его связи со своими предпочитаемыми стремлениями, мыслями и практиками жизни.

Совершенно иной теоретический ракурс, отличный от психоаналитических или глубинно-психологических, но сохраняющий этиологическую ориентацию, представлен в событийном анализе жизни [Katschnig, Nouzak, 1988]. Здесь тематизируются изменения в жизненных ситуациях, которые имеют более или менее катастрофичный характер и при известной частоте и временном уплотнении ведут к осложнениям в психосоматическом состоянии. В противовес этим этиологическим теориям подход в рамках психологии развития, использующий биографические взаимосвязи, нацелен на реконструкцию способа протекания жизни от рождения до смерти, особенно с членением на фазы и ступени. При этом в фокусе подхода становятся относительно независимые от контекстуальных влияний поворотные пункты развития в определенных жизненных отрезках. Так, на этих теоретических основаниях базируется популярная теория «кризиса среднего возраста» [McGill, 1980], ее критика у Чирибога [Chiriboga, 1989].

Еще одна группа теоретических ориентаций в биографике концентрируется на анализе взаимосвязей между историко-политическим и социальным контекстами биографии, с одной стороны, и ее протеканием — с другой. Известнейший исследовательский пример этого — зафиксированные последствия Великой депрессии в 1930 г. в США у детей, затронутых этой драмой отцов [Elder, 1974]. Однако и ретроспективные исследования о частоте конфликтов и психосоциальных нагрузках в различных фазах жизни разных когорт указывают на тесную взаимосвязь между сопровождающими определенное поколение социальным и политическим контекстами и течением жизни, имеющей горизонт воз-

можных ограничений и шансов на образование и рынок труда [Thomae, Lehr, 1986].

Качественная психология развития

Начало психологии развития в конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. характеризуется методически подробными наблюдениями и дневниками исследования. Здесь стоит отметить, например, дневниковые записи У. Прейера [Preyer, 1882/1923], который наблюдал своего ребенка, или подробные описания супружеской парой К. и У. Штерн [Stern, Stern, 1907/1965] развития своих детей в исследовательских дневниках (описывается у [Behrens, Deutsch, 1991; Hoppe-Graff, 1998]). Стоит также упомянуть анализы подростковых дневников, сделанные Ш. Бюлер [Buehler, 1929] и З. Бернфельдом [Bernfeld, 1931/1978]. Бернфельда до сих пор чтут в истории психологии развития, поскольку он попытался проанализировать дневники с использованием герменевтического подхода и психоаналитических методов, а также включал анализ их социально-исторического контекста. Кроме этих авторов, которые продемонстрировали аналитическое понимание детской и подростковой биографии, следует отметить Ж. Пиаже, вероятно, наиболее известного психолога начала XX в., который, помимо многочисленных наблюдений, интервьюировал детей, разработав процедуру, несколько ошибочно названную «клиническим методом» [Piaget, 1926/1978]. Эти и другие пионеры исследований в дисциплине психологии развития могут быть отмечены как предшественники качественного подхода к дисциплине психологии развития. Впоследствии пересмотренный вариант концепции Ж. Пиаже станет называться «экспериментальным методом», хотя по специальной процедуре только вводный вопрос был стандартизирован, следующие вопросы были сформулированы на основе ответов детей. Тем самым Ж. Пиаже надеялся предотвратить «некоторые систематические ошибки», которые часто сопровождают работу «чистого экспериментатора» [Piaget, 1926/1978, p. 18]. Несмотря на акцент на универалистский способ мышления и объяснения развития, ориентированные на степень зрелости, метод Пиаже, примененный на дневниках, демонстрирует то, как возникают изменения в знании и духовной жизни подростков в их переходном возрасте. Но если анализ дневников упомянутыми предшественниками позволяет проиллюстрировать уникальность данной фазы жизни, то экспериментальные процедуры — как взгляд на эту фазу в мо-

мент ее протекания — дают лишь ограниченное поле анализа в этой области исследований.

После «перерыва на германский фашизм» эти ранние попытки дневникового исследования биографии больше не встречали энтузиазма во время второго этапа психологии развития. Качественные подходы были в известной степени репрессированы, а в связи с ориентацией как европейской социологии, так и европейской психологии на Северную Америку с их установкой на количественные методы практические во всех соответствующих учебниках и стратегиях руководства по исследованиям стали представлять методы наблюдения, анализа дневников и т.д. как «анекдотичные» и «ненаучные» или определять как «старомодные». Автобиографические описания (из дневников и интервью) и наблюдения детей и подростков, характерные для ранней психологии развития, потеряли «репутацию, потому что они больше не соответствуют изменившейся идее приемлемых данных» [Норреграфф, 1998, р. 262]. Пожалуй, исключение составляют работы Х. Томэ [Tomae, 1956; 1959], который пытался укоренить биографические исследования в рамках немецкой психологии и придать биографическому методу равные права с другими методическими процедурами, используемыми в психологии развития. Однако следует констатировать, что и здесь, как в социологии, качественный исследовательский подход в значительной степени замер в послевоенное время. Как полагают эксперты [Меу, 2000], до сих пор позиционирование качественного исследования связано только с подготовительным шагом к количественному анализу в процессе исследования. Но справедливости ради следует отметить, что аналогичная позиция была характерна для значительного числа представителей первого эшелона психологии развития, например, для Ш. Бюлер или для ее студента П. Лазарсфельда.

Преимущественно количественные ориентации продолжают и у современных представителей психологии развития, несмотря на программы исследований, сформулированные в ходе третьего этапа психологии развития, т.е. начиная с середины 60-х годов XX в. (например, направление «Продолжительность жизни в рамках психологии развития», в которую вошли методологические проблемы, адресованные соответствующим периодам жизни). Представители так называемой «дифференциальной психологии развития» попытались дистанцироваться от универсалистского принципа мышления. Независимо от этих программных инноваций и несмотря на различные темы, методически внимание

в первую очередь было обращено на конструктивистское исследование. Возрождение качественной методологии можно наблюдать с 70-х и 80-х годов параллельно с дебатами о плане исследования, методических вопросах, с критикой ограничений экспериментальной парадигмы. Например, И. Вольвилл [Wohlwill, 1977] подверг критике типичные практики исследований в рамках психологии развития 70-х годов из-за невозможности экспериментальной манипуляции с переменной возраста. А У. Бронфенбреннер выступал против лабораторной психологии: «Нынешняя психология развития в значительной степени кажется наукой о странном поведении детей в странных ситуациях со странными взрослыми, проанализированном в минимальные сроки» [Bronfenbrenner, 1978, S. 33]. В целях соблюдения экологической валидности У. Бронфенбреннер предлагал вообще избегать использования экспериментов, как это было принято для проверки гипотез, но обращаться к ним «только в эвристических целях» [Bronfenbrenner, 1978, S. 40].

Выводы, которые можно сделать при оценке этапов психологии развития, заключаются в констатации почти полного отсутствия ссылок на качественные исследования, за исключением ранней стадии времен Ш. Бюлер. Качественные аспекты остаются незамеченными при одновременном предпочтении статистических процедур, которые характерны для текущего этапа психологии развития. Тем не менее ряд исследователей высказывают сожаление, что психология развития продолжает упускать свое предназначение в познании процессов преобразования субъекта. Даже тогда, когда «оптимальный путь» развития исследований осуществляется лонгитюдно с отслеживанием внутренних отдельных изменений, в большинстве исследовательских кейсов развитие непредставимо как процесс: в большинстве случаев развитие исследуется как (не) изменение признаков между двумя (или несколькими) замерами, но не предполагается, как эти (не) изменения связаны с процессами, что, однако, делает сами эти процессы предметом эмпирического исследования (но из-за методических процедур они не могут стать предметом исследования, как подчеркнул, например, Я. Вальсинер [Valsiner, 1987; 1997], который в течение двух десятилетий не устает напоминать о необходимости проводить исследования именно в рамках психологии развития, а не психологии не-развития). Соответственно требования к дизайну исследования формулируются таким образом, чтобы изменения (а они являются результатом процессов развития) стали доступны для анализа [Josephs, 1997].

Отправной точкой для методологической переориентации может служить возможность вернуться к ранней фазе развития психологии развития, правда, без копирования, и только в прошлое самих исследований, что в настоящее время обсуждается в рамках двух точек зрения. С одной стороны, напоминают, что предтечи психологии развития имели собственные методы исследования, а с другой — подчеркнута потребность скорректировать развитие исследований: против «современной» (переменно-ориентированной, а не человеко-ориентированной) психологии развития с акцентом на наблюдаемом (измеряемом) поведении и на преодолении трудностей в пренебрежении («внутренней стороной» человеческого развития и «эмоциональной жизни», как у Фенда [Fend, 1990, S. 8] в его работе о ребенке и подростке. В ходе этой переориентации и качественные документы — дневники, наблюдения в исследовании и интервью — получают все большее внимание. И некоторые исследователи работают в качественной перспективе, но не обязательно декларируя этот термин.

После многочисленных методологических возражений, которые были выдвинуты против анализа дневников (например, Фукс-Хайнриц [Fuchs-Heinritz, 1993, S. 263]) — в отношении исследований молодежи в социальных науках), сегодня некоторые исследователи вновь рассматривают этот источник, который на первом этапе психологии развития был важным ресурсом изучения подростков. Например, стоит отметить переориентацию лонгитюдного исследования «Психология развития в подростковом возрасте» Г. Фенда, который после своего первого чисто количественного исследования вводил все большее число качественных документов, оправдывая это тем, что «феноменологический материал дает необходимую основу для натуралистического анализа подросткового возраста, который не любит чистых спекуляций со стола» [Fend, 1994, S. 19]. Ссылаясь на узость попытки «измерить» мышление несовершеннолетних, он полагал более верным примкнуть к классической традиции в лице основателя исследования подростков — Ш. Бюлер — для реконструкции внутреннего мира подростков: «Мы должны раскрыть источники мышления, и мы должны стимулировать спонтанные выражения для обнаружения самореференциального взгляда на себя в раннем и среднем подростковом возрасте» [Fend, 1994, S. 31]. Но, несмотря на то что Г. Фенд на ранних стадиях исследования проводит контент-анализ, далее в конкретных эмпирических процедурах он концентрируется на количественных задачах. Анализ дневников он заканчивает упо-

минанием частот для соответствующих тем. В этом смысле методическое расширение ограничивается более открытой организацией сбора данных и наблюдения. Только «точные методы» являются легитимными, хотя еще Бернфельд подчеркивал важность интроспекции как «единственной процедуры, которая позволяет напрямую приблизиться к опыту психологической жизни... Без интроспективной памяти каждое научное наблюдение за детьми и молодыми людьми остается в долгосрочной непонятной перспективе, или мы находимся в опасности, чтобы понять это в смыслах взрослой эмоциональной жизни. Это может быть предотвращено при помощи сохраненной памяти о своих молодости и детстве» [Bernfeld, 1922, S. 5]. Даже если энтузиазм Бернфельда в отношении интроспекции может скрывать некоторые проблемные последствия процесса воспоминаний (как, например, вопрос об отложенном принятии решения, т.е. о переоценке прошлых событий из-за актуальной ситуации, сегодняшней Я-концепции человека), это не должно стать искушением для пренебрежения потенциалом данного подхода [Breuer, 1996].

3. Хоппе-Граф [Hoppe-Graff, 1989] как исследователь также возрождает пафос ранней школы психологии развития, и он прилагает большие усилия, чтобы освободить исследования а-ля Стерн или Пиаже от грехов, приписываемых им на протяжении десятилетий. Этот автор популяризирует идею восстановления дневника записей как подлинную лонгитюдную стратегию сбора данных, представляя методологические рекомендации для подготовки «Дневника записей». Это попытка доказать существенную роль дневника записей в контексте фальсификации теории исследования, в то же время он напоминает о задаче не пренебрегать «эвристической ценностью выдвижения гипотез в построении теории» [Hoppe-Graff, 1989, S. 251]. В этой связи могут быть привлечены и лонгитюдные исследования Л. Краппмана и Х. Освальда. В своем исследовании «повседневной жизни школьников», которое длилось несколько лет, среди прочего они использовали участвующее наблюдение и не-стандартизированное полуструктурированное интервью. Исследователи, сфокусированные на анализе процессов взаимодействия детей, явно отталкивались от качественной методологии исследования: «Мы были заинтересованы в определении ресурсов социализации ребенка, поэтому мы хотели отслеживать едва исследованные тонкие процессы настройки действий. В такой исследовательской ситуации очевидно, что должны быть выбраны качественные методы, потому что это позволяет

открыть новые и неожиданные явления и связи и разработать концепции из полученных данных» [Krappmann, Oswald, 1996, S. 25].

Эти два примера отчасти демонстрируют процесс переориентации в отдельных тематических исследованиях на пресловутую «толщину, или плотность», словами Гирца, описания-наблюдения и на подчеркивание уникальности предмета психологии развития, характеризующие ранние исследования в этой дисциплине, а не строго локализованные очаги качественных исследований, как сегодня. Классическая психологическая задача проверки влияния одних изолированных переменных и их взаимоотношений с другими изолированными переменными кажется лишь частично подходящей для воспроизводства структуры опыта и действий в потоке переживаний. Кроме того, более пристальное внимание вызывают отдельные тематические исследования, в которых обсуждаются некоторые методологические последствия включенного наблюдения, например, идея «интерпретации власти» [Hoppe-Graff, 1998, S. 271] в противовес стремлению стать «своим». В соответствии с подлинно качественной программой исследований необходимо также более четко, чем в работах раннего периода психологии развития, включить в анализ концепции и действия самих исследователей. В этой связи актуально предложение Ф. Бройера признать исследователей и их положение как «составляющую поле исследования» и «в качестве составной части теории» [Bergold, Breuer, 1992, S. 26]. Такие акценты фактически являются шагом к принятию качественно-интерпретативных методик, обеспечивающих «толстые описания».

В отличие от почти полного пренебрежения (пара)литературными документами и исследованием дневников, интервью более типичны в исследовательской практике психологии развития. В частности, по соображениям Ж. Пиаже, интервью используются для обнаружения структур, знания и аргументации, его «клинический метод» применялся в структурно-генетических исследованиях. Стоит отметить, что «интервью со структурной дилеммой» было разработано Л. Колбергом в контексте исследований по нравственному развитию. В этом интервью предварительно вводится история (дилемма), интервьюируемых просят решить дилемму и обосновать свой ответ (например, Р. Ортер применяет интервью со структурной дилеммой в нескольких исследованиях [Oerter, 1999]). В других областях психологии развития тоже были разработаны и созданы конкретные процедуры — например, «интервью взрослых привязанностей» или «интервью статуса идентичности», разработанные

Дж. Марсией и используемые в ряде других исследований. В связи с возрастом признания интервью как ведущей формы исследования сегодня они используются во многих исследованиях как наиболее возможный способ доступа к данным, который объединяет качественные и количественные процедуры. Тем не менее основная часть представителей психологии развития ограничивается использованием полуструктурированных интервью, и в анализе данных преобладает стремление организовать исследовательский процесс таким образом, чтобы завершить его количественным исследованием. Соответственно доминируют процедуры, которые с помощью разработанных руководств к интервьюированию и гайдов с вопросами позволяют перевести примеры и данные определения в статус классификаций и теоретических производных (этапы, фазы, уровни и т.д.) для описания «пути развития». Из ограничений полуструктурированных интервью и стандартизированных процедур анализа возникает потребность в других методах, разработанных в других дисциплинах, действительно обязанных качественной точке зрения в научных исследованиях (например, нарративно-биографическое интервью, разработанное социологом Ф. Шютце [Schuetze, 1983], которое, однако, часто используется и в других отраслях психологии, или проблемно центрированное интервью А. Витцеля [Witzel, 2000], который особенно подчеркивает диалогические и дискурсивные аспекты интервьюирования). В случае нарративного интервью — в дополнение к процедуре Шютце — рабочей группой У. Оверманна² были представлены предложения по анализу текста, в частности, герменевтический последовательный анализ текста интервью, в котором каждая секвенция оценивается и интерпретируется одна за другой в соответствии с правилами интерпретации (в этом русле работают Г. Розенталь, Р. Бонзак, Й. Райхертц [Rosenthal, 1987; Bohnsack, 1993; Reichertz, 1997]). Анализ проблемно центрированного интервью [Witzel, 2000], кроме того, относится к исследованиям в духе обоснованной теории, разработанной Б. Глэзером и А. Страуссом [Glaser, Strauss, 1998; Strauss, Corbin, 1996]. Процедуры, предложенные в рамках обоснованной теории, позволяют не только осуществить анализ, «сохраняющий структуру содержания, вычлененную из явлений, в течение возможно более длительного времени» [Fend, 1994, S. 19], но и изучить «микроскопические», по Страуссу, дан-

² Подробнее о концепциях Ф. Шютце и У. Оверманна будет изложено в третьей главе.

ные. Наконец, подход обоснованной теории позволяет включать исследователя и его интуицию в процесс исследования, как говорил Ф. Бройер [Breuer, 1996], сочетая элементы обоснованной теории с соображениями о саморефлексии исследователей.

Как предварительный может быть сделан прогноз, что подающие надежды качественные исследования ждет более широкое распространение по сравнению с предыдущими десятилетиями, что не обязательно означает равное признание в научном ландшафте. Проблематично само принятие специфической логики качественных исследований, что релевантно, разумеется, не только для количественно ориентированных исследований, но и для значительного числа качественных исследователей (и это не ограничивается психологией развития). Так, В. Фукс-Хайнритц признает, что «преобладает неопределенное, необоснованно почтительное отношение к нелюбимым количественным методам» [Fuchs-Heinritz, 1993, S. 254]. Он полагает, что эта тенденция, например, становится очевидной во время «неявного (иногда явного) соблюдения количественной логики анализа» [Fuchs-Heinritz, 1993, S. 255], особенно если, несмотря на небольшие размеры выборки, выдвигаются необоснованные выводы, вероятно, для того, чтобы избежать (реальных или ожидаемых) «упреков, что представленные результаты могут быть действительны только для проанализированных отдельных случаев» [Ibid.]. Таким образом, частотность привлекается опять, чтобы на неопределенной базе данных породить сомнительные суждения. Следуя логике больших чисел, некритически настроенный исследователь принимает решение о методологии, ориентированной на сравнение, вместо анализа внутренней последовательности.

Обозначая некоторые перспективы и возможности качественной психологии развития, можно сказать, что, несмотря на локальность исследовательских очагов, принципиально важным представляется объединение различных качественных подходов к исследованию и психологической концепции индивидуального развития как процесса трансформации. Это позволяет предположить существование связи между процессом анализа и качественным исследованием: каждый производимый в процессе исследования научный факт является результатом общего процесса производства/взаимодействия всех лиц, участвующих в соответствующей ситуации. В рамках качественных исследований высказывания и действия не рассматриваются как статичные репрезентации. Напротив, принимается предположение, что любые способы измерения

являются вмешательством, таким образом, изменяется субъект исследования, из чего вытекает, что субъективность исследователей также должна быть отрефлексирована и учтена как «переменная интервенции». Но попытки внедрить контроль или устранить субъективность посредством способа измерения в практике качественных исследований отвергаются как методологически неадекватные (об этом более подробно писали К. Мрук и Г. Мей [Mruck, Mey, 1996]).

Вслед за рефлексией на эту тему была выдвинута с отсылкой к Л. Выготскому идея «совместного строительства» в производстве данных, которую подхватил, например, Вальсинер [Valsiner, 1998], подчеркнув, что каждое исследование (независимо от конкретно используемых методов) является частью общего конструктивного процесса (см. [Valsiner, 2000]). Согласно этой точке зрения исследователи не только являются «помощниками» в процессе разработки структур, но и влияют на анализ данных. Соответственно это влияние должно рассматриваться, как это предлагает Р. Ортер [Orter, 1999], который сосредоточен на пред- и постреконструкции того, что сделано исследователями, на возможных мерах проверки качества. Концепция совместного, конструктивного характера данных и контекстуальной укорененности любого исследования, реализация этой концепции в научно-исследовательской практике представляется важной перспективой для качественной психологии развития.

Если связывать эти перспективы и биографические исследования, то следует подчеркнуть специфику взаимодействия между исследователями и участниками под углом психологии развития, которая заключается в понимании измеряемой ситуации не как единого целого или события, а как цепи событий, даже если имеет место только один момент измерения. То есть темпоральность развития, будь то опыт, действия, понятия, мотивы и т.д., изучается как структурированный во времени ансамбль, в терминах Ю. Штрауба [Straub, 1989, S. 115]. В этом смысле биографическое исследование в ситуации сбора данных можно рассматривать как промежуточный продукт последовательного процесса, в котором явление биографии выращено из одних процессов и трансформировано в другие. Благодаря этой точке зрения возникает шанс, что процессуальный анализ с реконструкцией всей предшествующей истории позволит избежать ограничений и смещений, вызванных статичной схемой замера, предъявленной феномену. Попытка связать опыт и рассказ в истории жизни и, следовательно, объять временные горизонты

прошлого, настоящего и будущего касается как содержания, так и процессуально схваченной временной структуры явления, причем содержание и форма повествований интерпретируются только в их взаимовлиянии.

§3. Биография и проблемы идентичности

Современность можно представить как социальный процесс, который маркирует переход от домодерных топологических дифференциаций (т.е. классы и социальные группы) к функциональным дифференциациям (с такими подсистемами, как политика, право, экономика, наука, образование, здравоохранение и т.д.). В ходе этого процесса отдельному индивиду сложнее вписываться в определенный сегмент или страту в обществе, скорее, утверждаются функциональные режимы включения индивидов. Как следствие, индивид частично принадлежит ко многим подсистемам, будучи исключенным как целостный индивид. От функционально фрагментированного индивида требуется одновременное участие в различных режимах (в терминах Л. Тевено) или в подсистемах, к чему он институционально принуждается.

Это порождает две основные проблемы. Первая состоит в том, каким образом должны согласовывать свои действия и опыт индивиды как индивидуально интегрированные личности и как социально интегрированные члены общества. Вторая проблема касается того, каким образом общество соотносится с индивидами, чтобы обеспечить социальный порядок и интеграцию.

В истории социологии термин «социальный порядок» обозначает фундаментальную проблему раннего Модерна относительно того, какое влияние на индивида оказывает общество и, напротив, каким образом индивиды обеспечивают функционирование и изменение общества. Несколько позже в фокус социологического дискурса попала легитимность любого порядка, фактически возможность самого существования порядка. Находясь под сильным влиянием философских течений Модерна, все классики социологии конца XIX в. уделяли серьезное внимание разработке теории отношений между субъектом и объектом, пытаясь кооптировать индивида в общество в качестве субъекта через концептуализацию их взаимоотношений.

Сам процесс академического дискурса в ходе наблюдения за общественной действительностью и ее описания привел к фундаментальному пониманию того, что общество и отдельный индивид отличаются друг от друга, и отличие это подразумевает существование двух разных сфер. Эти сферы, имеющие различные названия — субъект и объект, гражданин и государство, индивид и общество — являются независимыми друг от друга, в то же время между ними должна быть установлена взаимосвязь. Таким образом, основная теоретическая и практическая задача Модерна состояла в том, чтобы по-новому определить взаимоотношения между этими двумя сферами.

Практическим результатом стала растущая социальная институционализация и индивидуализация, как мы показали выше, что породило парадоксальный социальный порядок, основными характеристиками которого являются амбивалентность и неопределенность. С точки зрения общества, сложность более мощных систем все более усложняет процесс управления ими. С точки зрения индивида, огромная степень свободы от жестких условий и возможность выбора из множества вариантов являются непосредственным результатом того, что этот индивид связан с обществом «только» функционально. На другой чаше весов этой свободы — стрессы и напряжение, связанные с реализацией такой полноты выбора, наряду с социальным неравенством и непропорциональным распределением ресурсов.

В начале XX в. Г. Зиммель и Дж. Г. Мид, размышляя о зарождающейся амбивалентности и парадоксах, связанных с этой ситуацией, представляли индивида в качестве отдельной личности, связанной с обществом творчески и автономно. Затем последовали работы Ю. Хабермаса, касающиеся коммуникативного действия и политического участия. В этих теориях используется гегелевская философская концепция идентичности, которая социологически соединяема с процессами социального опыта и настаивает на интегрированной личности. Принцип идентичности кажется необходимым в общем плане для упорядочения действий и опыта, особенно в отношении морали. Этот принцип может помочь человеку понять, кто он и чего он хочет достичь при принятии решения о том, как действовать или как разрешить моральную дилемму. Другими словами, люди, которые не знают, кто они такие, определенно не знают, что они хотят делать. Но действительно ли знание ответа на вопрос «кто я такой?» способно обеспечить надежный фундамент в многомерном мире? При полирежимном социальном порядке на членов об-

щества возложены временные обязательства по причине постоянной трансформации порядка. Упрощенное понимание идентичности — в смысле способности осознавать себя по принципу «я такой, а не другой» является безнадежно устаревшим. То, что человек называет своей «идентичностью», неизбежно принадлежит большому числу личностей, затерянных в прошлом, а также «незнакомому Другому». Ответ на вопрос «кто я?» можно искать в зависимости от числа возможных ситуаций, в которых он возникает.

Трудности такого рода могут побудить отказаться от концепции идентичности, как не имеющей практического значения для ответа на эти вопросы. Как только мы пытаемся определить, что же значит это «я» или кем на самом деле является конкретный человек, мы обнаруживаем, что за спиной стоят «ты», «мы» и «они», выступающие неотъемлемой частью всех человеческих действий и всего опыта. Понятие «идентичность» является ответом на эту дилемму, которая отражает сложность и многослойность включения индивида в общество. Иллюстрацией этой проблемы являются модернистские (Ю. Хабермас) и постмодернистские (М. Фуко) дискурсы идентичности. Первый говорит об идентичности и субъекте, а второй — о внешней и множественной случайности. Однако, может быть, существует и третий путь — платформа, на которой обыкновенный человек приспосабливается к современным условиям, постоянно создавая и воспроизводя социальный порядок, определяя на практике меру своего участия в современном обществе? Как ему удастся поддерживать определенный социальный порядок и интеграцию своего «я»?

Мы полагаем, что такой платформой является биография, которую можно представить как интерпретативный жанр тематического описания личности, позволяющий организовать жизнь во временном аспекте, а также в плане участия в различных социальных институтах и мероприятиях. Современные биографии возникают как дискурсивные, интерпретативные произведения, сначала в коммуникативной, а затем в письменной форме. Понятие «биография» подразумевает описание, которое возникает в результате самонаблюдения и структурирует жизнь индивида как до возникновения определенного события, так и после него. Интерпретативную работу по самоориентации на протяжении жизни на фоне социальных изменений можно назвать вслед за В. Фишером-Розенталем «биографической работой». Биографическая работа как социальная практика (а не научный дискурс идентичности) является ответом на проблемы социальной интеграции и социального порядка в

эпоху Модерна, который дает возможность сформулировать эти проблемы с точки зрения как индивида, так и общества [Fischer-Rosenthal, 1995a; 1995b].

В процессе поиска путей выхода из неожиданных и противоречивых ситуаций речь со всеми присущими ей коммуникативными и повествовательными свойствами становится очевидным средством надежного определения места индивида, а также структурирования социальной жизни. Через речевую активность члены общества создают свой мир. Они интерпретируют события и передают эту информацию другим, тем самым производя опыт и знания. Любой социально-научный подход, который отдает должное понятию социальности, в той или иной мере принимает во внимание язык.

Разговорный язык позволяет представить прошлые события, изменив их порядок и применив их в контексте того, чего можно ожидать в будущем. Таким образом, он является основным элементом при создании биографических структур. В общем плане разговорный язык дает нам возможность расставить по времени события и действия, производя тем самым сложную сеть ссылок, в которой индивид может как стать тем, кем он есть, так и изменить свою роль. Этот процесс принимает форму самопрезентирующего и самовыражающего повествования со ссылками на самого себя или на истории жизни индивида. Хотя индивиды зачастую не уверены в том, кем они являются или что с ними происходит в определенный момент их жизни, способность рассказывать о том, кем они стали, позволяет им на время представить себя в качестве цельных людей, несмотря на присутствие различных других возможных, зачастую противоречивых, вариантов представления их истории. Истории жизни строятся преимущественно с точки зрения самопрезентации, с высоты которой человек воспроизводит прошедшие события и заглядывает вперед — на то, что ожидается или предполагается. Практически истории жизни являются конструкциями «на время» — аутопоэтическим процессом, посредством которого индивиды определяют свои ориентиры и создают себя. Несмотря на то что такие истории отражают практические достижения, они ни в коей мере не являются произвольными; также и люди, готовые выслушать ее, хотят услышать не просто любую историю. В отличие от историй выдуманных, биографии являются историей жизни. История жизни предполагает описание того, через что проходит человек в течение своей жизни, значения взаимодействия с другими и, наконец, развития его внутреннего «я».

Организации и социальные институты создают нормативные биографические паттерны. Так, в соответствии с институциональными требованиями индивид изображает свою трудовую деятельность как карьеру — заданный биографический паттерн, которым индивид может и должен пользоваться. Индивиду становятся все более доступными сети упорядоченных во времени позиций и последовательных действий, освоение которых является неотъемлемым требованием для полноценной интеграции в общество. Говоря в целом, жизнь не только делится на периоды — детство, молодость, взрослую жизнь и старость, — но и биографически упорядочена: в меньшей степени — в зависимости от образования, в большей степени — в зависимости от профессиональной подготовки. Эта временная дифференциация означает, что сам по себе процесс старения иногда влечет за собой утрату возможностей, которые уже не «относятся» к соответствующему этапу жизни лишь в связи с тем, что индивид стал старше определенного возраста. Биографические паттерны инструментальны также в организации определенных видов деятельности (например, профессиональная подготовка для определенной работы) или в качестве предписания поведения в большинстве ситуаций, возникающих в современной социальной жизни — от семьи до образования и работы. Биографии необходимы для институциональных практик, отвечающих за «упорядоченность» общества (право, политика, религия). Итак, биография как особая форма темпорализации предоставляет возможность как индивиду, так и обществу модус обращения с неожиданными ситуациями, обеспечивая баланс возрастающих возможностей и вариантов. Биография по определению подразумевает пересечение индивида и общества.

Однако, возвращаясь к поставленному вопросу, отметим, что мы отрицательно позиционируемся по предложению В. Фишера-Розенталя заменить понятие идентичности, которое он считает излишним, на понятие биографической работы [Fischer-Rosenthal, 1995c]. Если рассматривать биографию на двух уровнях — как социальную практику и как социологическую концепцию, — то биографизирование в смысле, употребляемом В. Фишером-Розенталем, скорее, относится к уровню социальной практики. На этом уровне биография представляет собой сеть событий и возможностей, которые постоянно сводятся вместе и интерпретируются в процессе жизни. Биография одновременно и создает, и обрабатывает разделение событий по времени, конструируя в рассказе необратимое, последовательное время, или хронологический порядок,

и феноменологическое время, представленное в настоящем и воплощающее конкретные воспоминания и ожидания будущего. Биография относится к открытому для интерпретации процессу становления. Но обращение к социально-конструктивистской парадигме и ее объединение с концептом идентичности позволяет также представить как изменение, так и темпоральность в понимании «принадлежности», состояния «бытия» или «обладания», например, социальной, гендерной, этнической или национальной идентичностью. Биографическая работа как понятие не заменяет полностью процесса идентификации, поскольку последний имеет тенденцию увязываться с преднамеренными «решениями» и «приписанными» характеристиками, что особенно важно в целях анализа институциональных рамок биографии. Существенный акцент в производстве идентичности следует сделать на его медиуме — нарративе — и тем самым ограничить его сферу презентации, претендуя на частичную, локально размещенную, заведомо неполную, но нарративную идентичность, которую мы рассмотрим подробнее во второй главе.

Устный рассказ или письменная история жизни удовлетворяет человеческую потребность в подчинении случайности; например, говоря о том, кем он является, человек объясняет, как он стал тем, кто он есть. Понимание самого себя возможно только через видение себя в потоке становления. Во все большей степени именно история жизни оказывается способной охватить всю сложность человеческого «я» во времени, включая биографические трансформации и противоречия. Социальное положение индивида, а также мириады функциональных связей с основными подсистемами представляются менее важными с точки зрения ориентации в окружающем мире человека и других людей в его окружении, чем возможность рассказать историю прожитой жизни при всем многообразии толкований реальных событий. История жизни кажется единственным средством подотчетности перед другими людьми, средством помочь им понять, чего они могут ожидать от этого человека. Биографизирование, даже как производство «иллюзий», может иметь не только дискурсивный характер, что бесспорно в отношении жанра институциональных биографий. Рассказывая свою жизнь, мы создаем форму, посредством которой **распознаем** в этой жизни то, что без этой формы не увидели бы, — смысл.

Как биографическое направление обходится с той же проблемой субъективности, как методологически она осваивается? Наслоение жизненных практик в биографии объективирует приобретающие социаль-

ное значение индивидуальные жизненные образцы (удачных/неудачных карьер, успешных/неуспешных браков, миграции, стратегий выживания и т.д.), «передавая» их в пространство наследуемого социального опыта и изменяющегося социального времени. Этот процесс превращения субъективного в интерсубъективное, т.е. разделяемое в социальном взаимодействии, и далее в объективированное — процесс выкристаллизовывания социальности.

В заключение необходимо отметить, что понятие биографии не воспроизводит разрыва между индивидом и обществом, а, скорее, структурирует обе сферы. В своих проявлениях в виде истории жизни и институциональных биографических паттернов биография перекрывает теоретически сконструированный разрыв между внутренней и внешней сферами. Таким образом, биография имеет двойное значение. С одной стороны, она относится к социальной структуре, предоставляя действующим лицам различные социально смоделированные жизненные пути, которые тем предстоит пройти в своей жизни. А с другой — она относится к той истории, которую индивид способен и намерен рассказать.

§4. Биография и Устная история

Человеческая память и социальная история находятся в непростых отношениях взаимного отчуждения/освобождения. Как писал М.К. Лавабр, «память... славится умением тихо, но искренне сопротивляться тогда, когда политические власти грубо обращаются с историей и манипулируют прошлым» [Лавабр, 1996, с. 233]. Это искреннее сопротивление памяти, не вошедшей в официальную память, соответственно и в официальную историю общества, стало широко востребовано в наше время переписывания идеологий. Перестройка открыла архивы, сформулировала политический заказ на новые национальные идеи, заодно либерализовала и отношение к ущемленным в истории социальным группам, коллективная память которых стала оформлять собственные дискурсы. Можно солидаризироваться с мнением П. Нора о предперестроечном Советском Союзе: «В противовес истории, которая практически из лжи превратилась в так называемую научность, возврат к памяти, может быть, и не является прямым подходом к исторической правде, но, без сомнения, является символом свободы и альтернативой тирании» (цит. по: [Лавабр, 1996, с. 234]).

В общем русле тематизации субъективности развиваются и устно-исторические исследования. Объектами изучения Устной истории также являются субъективные воспоминания, личные переработки пережитого, индивидуальное поведение и его объяснение в истории, личная ответственность в исторических процессах и их толкование вместе с биографическими конструкциями и жизненными путями. Воспоминания, опрос свидетелей, биографии и автобиографии, личные фотографии и другие субъективные объекты воспоминаний — важнейшие источники для исследования исторического развития. Субъекты, а также их опыты играют значительную роль в анализе развития консенсуса и конфликта в обществе, в отношении между «большой политикой» и субъективными возможностями в общественных отношениях, их границах и связях. Речь здесь идет об исследовании людей в истории и об их способе обращения с историей, о топосе вспоминать, означать, понимать.

Субъективные вспомненные свидетельства также являются ресурсом для микроистории, для которой имеется мало других источников, или там, где вследствие своего предмета выходят на авансцену субъективные источники, например, семья, родство, гендерные роли, стили воспитания, практики труда и профессии, но также и воспроизводство элит во властных структурах, партиях и прочих институтах, религиозные связи и ритуалы, их секуляризация и т.д. Как понятие Устная история — историографический импорт из США, оно прижилось, несмотря на редукцию к источникам устного характера. Но под Устной историей имеется в виду более чем техника опроса свидетелей событий, скорее — смена перспектив в буквальном смысле слова. Речь о другом способе рассмотрения — о том, чтобы субъективность и опыт субъектов вообще сделать предметом историографии и объяснить их как передаваемые по наследству или традиции, тем самым они получают статус, ранее неприемлемый в других историографических школах. Для такой постановки вопроса и исследовательских целей недостаточно одних устных источников, необходимы многочисленные другие эмпирические изыскания и комбинация методов. В итоге задача Устной истории заключается в том, чтобы с помощью различных источников и методов обнаружить и описать след передачи индивидами и группами населения их опыта, культуры и жизненных форм.

Устная история — междисциплинарное исследование на стыке истории, социологии, этнологии, социальной психологии, антропологии, все более и более социально ориентированная область истории, которая

как методологически (Устная история как дополнительное производство источников через ретроспективное интервью), так и концептуально (историческое исследование как субъектно ориентированная наука об опыте) дает представление о новых перспективах социального познания. Эти перспективы, безусловно, связаны с историей сознания как индивидуализированным процессом присвоения/освоения истории. Историческое сознание означает в этом контексте синхронную переработку истории, интеграцию биографического в коллективную историю как результат превращения пережитой истории в означенное переживание, соединение прошедшего с современным и будущим посредством поиска смысла. Процесс присвоения истории, автономная реконструкция исторического переживания происходит в воспоминании как в модальной форме интернализированной переработки истории. Можем ли мы рассчитывать тогда на прямой доступ к жизненному прошлому, тем более тех, история которых не нашла места в официальной истории? На весьма существенный аспект устно-исторического исследования обращает внимание американский исследователь М. Фриш, комментируя «Тяжелые времена» С. Теркеля: «В Устной истории можно видеть способ обойтись без самой интерпретации прошлого историками-профессионалами и соответственно избежать всех связанных с этим проблем элитарности исторического знания и неизбежного привнесения современного контекста. Может показаться, что Устная история позволяет непосредственно общаться с прошлым, вносит меньше искажений в его образ» [Фриш, 2003, с. 58]. Призывая к осторожности в анализе интервью о прошлых событиях, М. Фриш предлагает дифференцировать три вопроса, ответы на которые могут помочь соотнести смысловые оси прошлого и будущего: кто говорит? О чем идет речь? Что нам рассказывают? [Там же, с. 63]. Это несколько напоминает известную формулу Ласуэлла для анализа дискурсивных текстов: «Кто что сказал кому с каким эффектом». Что ж, искусство интервьюирования и заключается в том, чтобы существенное событие в жизни интервьюированного не задокументировать изолированно, а представить в системе значимых связей, эпизодов, информации при условии методического контроля за процессом интерпретации.

Исторические науки могут занимать гораздо более активную позицию в воспроизводстве коллективной памяти, чем им предназначается с первого взгляда. Идентификация самих историков со своим социальным слоем, полом, поколением приводит часть из них к тому, чтобы рас-

смагивать, обозначать передачу памяти через участников и свидетелей как «коммуникативную традицию» [von Plato, 2000, S. 11]. Под коммуникативной памятью мыслится больше, чем передача памяти благодаря свидетелям событий. Скорее, это такие события и связанные с ними стратегии воспоминаний, на основе которых коллективы объединяются в сложном процессе выработки дискурсивных стратегий. Коллективы, о которых идет речь, — это семьи, социальные группы, партии или даже нации, но и некоторые группы с определенным опытом коллективного страдания, преследования, стигматизации и т.д. Они сами из определенных целей культивируют воспоминания. Воспоминание, стартовавшее прежде всего как индивидуальное, впоследствии конструируется через институционализированный процесс организации воспоминания (например, через фонд памяти) таким образом, что становится чисто коллективным. Мы уже вспоминаем себя в модусе, указывающем на коллективные инстанции социализации в рамках коллективов, которые это восприятие контролируют, подкрепляют или отклоняют. Мы рассказываем их в той форме, которая также структурирует эти воспоминания.

Дилемма Устной истории: сохранять и передавать ли микрознание о стратегиях совладания с историей в виде «моральной ущемленности, скрытых защитных маневров, гнева и стыда» [Assmann, 1999, S. 14] в описании истории, что составляет полноту ее субъективного отражения, или готовить сегменты лишенной субъективности коллективной памяти в копилку культурной памяти сообщества? А. Ассман задается вопросом: должна ли предварительно «история» в головах, сердцах и телах пострадавших сначала умереть, прежде чем она, как Феникс, возродится в качестве науки из пепла исследовательских опытов? Объективность, по Ассман, это не только вопрос метода и критического стандарта, но и мортификация, вымирание, выцветание страдания и ущерба [Ibid.].

Очевидно, что документированная коммуникативная память, которая жива у нескольких поколений, овеществляется при вхождении в культурную память сообщества, объективируясь как нормативный, пограничный или анормативный текст. Вопрос только в том, какова та позиция в общем, но не равноценно означенном символическом пространстве культурной памяти, которую займет та или иная коммуникативная память определенной социальной группы. Реабилитация одних с неизбежностью требует развенчания других, поскольку наличие дискурса

официальной истории иерархизирует культурное поле по принципу «ближе—дальше».

Здесь заключена сложность позиции Устной истории или той ниши культурного поля, на которое она претендует. И еще сложнее она станет со временем, если доминирующие сообщества — не только очевидцы — создадут новые рамки соотнесения или изменят доминантный образец толкования. Ведь последующие поколения будут иметь другие ценности и другой горизонт опыта по сравнению с очевидцами. Тем драматичнее, если написанная, медиально опосредованная, на выставках представленная история выступает чужой или даже враждебной. Для ставших рутинными воспоминаний столь же трагично просто обесценивание пережитого исторического опыта как форма символической смерти.

Эта оспариваемость истории, разорванность различных поколений и социальных групп с собственными переопределяемыми традициями и ставшими самостоятельными мифами «снимается» в единении, реализуемом в стратегиях воспоминаний, а также в создании островков коллективной памяти в виде Фонда жертв Холокоста, «Мемориала», различных биографических архивов. С угасающим воспоминанием очевидца дистанция по отношению к событию становится не только больше, она также изменяет свое качество, которое может быть компенсировано фильмами, мемуарами, выставками, картинами. История девочки по имени Анна Франк заново переживается через поставленный спектакль, переизданный на многих языках мира дневник, позволяя уже далеким от реалий Второй мировой войны поколениям пережить, а не только узнать, как это было.

Это показывает, насколько тесно связаны «история и память», «опыт и история эпохи», насколько актуальны переходы от коммуникативной к культурной памяти и что может быть потеряно, если «насыщенное опытом прошлое» со всеми его стратегиями подавления/овладения прошлым само не становится предметом исследования. Пример такого исследования: документация и анализ воспоминаний еще живых, их передача в «чистое будущее», которое имеет теперь долгую медиальную жизнь и все больше влияет на коллективную память.

Устные историки П. Томпсон, Д. Берто, Г. Элдер, М. Коли, Т. К. Харевен так мотивировали свое участие в этом направлении: «Нашей задачей было заново внести в социологию не «предмет» (который в большей степени является философской категорией), а конкретный опыт людей, погруженных в социальные отношения в историческом контек-

сте. Мы обращались к людям, которых интервьюировали, как к носителям информации о социальных (или, скорее, о социально-исторических) средах, истории жизни которых были запечатлены в этих контекстах в конкретное время (хотя и не обязательно на всю их жизнь). Мы отдавали себе отчет, что люди, от которых мы получали информацию, сообщали нам не только «правду, и ничего, кроме правды». Однако мы полагали, что, собирая множество историй жизни из одной и той же среды, мы сможем обнаружить повторяющиеся модели, относящиеся к коллективным явлениям или разделенному коллективному опыту в конкретной среде. И в самом деле нам впервые удалось описать определенные социальные среды и коллективный опыт. Мы считали, что люди приобретают знания относительно механизмов функционирования среды, в которую они вовлечены. Такое знание социальных процессов и структур, без сомнения, имеет лишь частичный характер, однако его невозможно получить иначе (например, в книгах или архивах). Поэтому с эпистемологической точки зрения представлялось разумным спрашивать людей об их знаниях, чем всегда занимались антропологи. Кроме того, такой подход представлялся нам возможностью по-новому оценить «врожденные» знания, а следовательно, и их носителей. Мы считали это полезным и в «политическом» плане, с точки зрения социальной справедливости и моральной реинтеграции в коллективное сознание членов общества более низких социально-экономических классов» [Bertaux, 1996, p. 2].

Какие же эпистемологические проблемы Устной истории по-прежнему возникают в дискуссии? Одни из них лежат внутри дискурса, другие вынесены вовне — в общество. Прежде всего это проблема достоверности Устной истории. Кто-то ищет в историях следы тщательно похороненной под официальными версиями событий правды, кто-то — логику и типичу совершаемых поступков, кто-то реконструирует причины умолчания или оправдания, как, например, в переведенной на русский язык книге П. Сихровски «Рожденные виновными. Исповеди нацистских преступников» [Сихровски, 1997]. Правда и вымысел сплетены в единое целое под названием «история жизни». Можно отнестись к вымыслу изящно, как это делает в «Шести прогулках по повествовательному лесу» Умберто Эко. Он рассказывал, что любая реальность в мире реальности может быть поставлена под сомнение. Кто знает, прав ли на самом деле Эйнштейн, между тем как в мире вымысла факт смерти Эммы Бовари непреложен... Художественный вымысел дает нам проч-

ный мир, куда устойчивее мира реального, даже если мы привыкли думать иначе [Есо, 1991].

Серьезная критика субъективных источников в историческом исследовании касается следующих оснований:

- как субъективные источники, они отражают только воспомина-ния отдельных индивидов, не давая обоснованных обобщений относительно опрошенных;
- они возникли вследствие субъективных интересов;
- это источники, которые, как, например, автобиографии, возникли гораздо позднее описываемых событий и часто в целях легитимации;
- ничто так не обманчиво, как воспоминание или память, населенные новыми событиями и опытами;
- устные источники возникают благодаря диалогу с Другим, преимущественно оценивающим, и тем самым создают собственные источники, которые в большей степени отражают современность и взгляды участников или коды их понимания, их отклонения или идентификации [Plato, 2000, S. 7].

Часть представленной критики относительно опыта или значения субъективности основывается на определенной подмене. Если исключить те работы по истории, например, менталитета, которые относятся к источникам памяти некритично, недифференцированно, с наивной верой в их правдивость, то останутся работы, обращающиеся к исследованию субъективности в истории и нуждающиеся именно в тех источниках, которые могут опосредовать эту субъективность. Выбранный метод исследования должен соответствовать его предмету. В таком случае те, кто критикует субъективность источников, должны в действительности критиковать не источник, а постановку вопроса. Кроме того, многие пункты критики, которые направлены против субъективных источников, можно адресовать любому другому источнику, особенно официальным документам, которые разработаны субъектами социальных институтов со специфическими интересами. Очевидно, что здесь мы выходим за рамки собственно истории и конкурирующих внутри нее парадигм, ведь то, что ограничивает политическая культура, позднейшая история утрачивает, если она пренебрегает субъективным опытом и проработкой истории. Политика открывающихся на краткий период архивов эпохи гласности, остроумно названной немцами *Milchglasnost* (симулякр из гласности и молочного стекла), манипуляции со спецпра-

ном, коллективные мероприятия к юбилеям, прокатывающиеся волны мемуарного освоения ушедших событий — все эти сюжеты говорят о том, что коллективная память общества пульсирует в регулируемом политической задачей ритме.

Другая фундаментальная критика, которая хотя и принимает воспоминания в качестве исторического источника, но при этом основательно их критикует, рассматривая сегодняшние опросы, как, например, интервью (устные истории жизни), в качестве артефактов. Этот упрек-артефакт связан с представлением об Устной истории как о транслирующей рассказанный в современности образ пережитой истории, причем связь с реальностью отвергается или считается принципиально непознаваемой. Эта критика кажется основательнее, поскольку каждое биографическое интервью, каждый устно-исторический опрос свидетелей являются артефактами в смысле вновь созданных источников. Из мэтров, озвучивших эту скептическую позицию, выделяется П.Бурдьё с его известной работой «Биографическая иллюзия». Он писал: «Попытаться понять жизнь как уникальную и самодостаточную серию последовательных событий, не имеющих других связей кроме как ассоциирования с неким «объектом», обладающим единой константой в виде имени собственного, почти так же абсурдно, как придать смысл поездке в метро, не приняв во внимание его схему, другими словами, матрицу объективных отношений между различными станциями. События биографии определяются количеством *вложений и перемещений* в социальном пространстве, т.е., точнее, в различных последовательных состояниях структуры распределения различных видов капитала, которые задействованы в рассматриваемой сфере. Смысл движений, переводящих из одного состояния в другое (с одной должности на другую, от одного издателя к другому, из одной епархии в другую), определяется со всей очевидностью через объективное отношение смысла и ценности в момент времени, рассматриваемый с этих позиций внутри направленного пространства» [Бурдьё, 2002, с. 80].

Как в биографических исследованиях, так и в Устной истории важную роль играют жанровые особенности воспоминаний, которые складывались в культурно обусловленном процессе социализации через сказки, рассказы о семейных опытах, заполнение анкет в отделе кадров или анамнеза в кабинете врача. Стремясь быть понятыми, мы ориентируемся в коммуникации на определенные формальные критерии понятности, а именно ориентация во времени и пространстве, персонажах исто-

рии, событийном ряде, его значении для рассказчика и объяснение, почему эта история актуальна и сейчас. Мы чаще всего рассказываем от начала до конца, преследуя хронологическое развитие сюжета, и лишь поиск смысла заставляет нас уклоняться от логики линейного времени, ведь смысл сложно рассказать. Эта деятельность рассказчика подчинена определенным литературным канонам, от которых можно реферировать к тому культурному контексту, в рамках которого возникает Устная история. Во многих исторических исследованиях речь идет не о точном воспоминании, а о переработке ранних переживаний и опытов, частичный и селективный образ которых участвует в построении идентичности. Содержание памяти перенасыщено и изменено позднейшими событиями и переработками через последующие оценки и новое социальное окружение, что осложняет ее интерпретацию. Мы живем в переплетении старых и новых опытов, которые определяют наши сегодняшние действия и оценки. Несмотря на отсутствие точных воспоминаний, мы говорим тем не менее не только о памяти индивидов, но и о коллективной памяти или даже о коллективных менталитетах целых обществ (исследования Л. Нитхаммера в Германии [Niethammer, 1991]). Свидетельства очевидцев — это не свидетельства от индивида к индивиду различно увиденных и пережитых событий. Речь о другом — они имеют актуальное поле, обобщенно называемое культурой воспоминания. Это поле соопределяет их переживание, структурирует их презентацию, вероятно, также и само воспоминание, дает признание и тепло, за что можно испытывать благодарность. Таким образом, вербализация воспоминаний происходит в форме рассказов, которые представляют жанровые наиндивидуальные формы в ауре определенной культуры воспоминаний.

§5. Гендерные особенности воспоминаний

Банально было бы просто упомянуть о гендерной определенности топоса воспоминаний, если бы не политика игнорирования его в официальной истории. Воспоминания мужчин и женщин как тематизации гендерно окрашенных субъективностей порождают и различные тексты. Биографическая практика женщины, тесно связанная с повседневностью, построенная на границе мира публичного и мира приватного, с неизбежностью находит отражение в стиле письма автобиографии, в выборе тем для описания, в склонности к выразительному языку в отличие

от рационального (Элен Сиксу вслед за Руссо), к манифестациям эмоций и телесности в тексте и т.д. Но то, что может быть обнаружено как мужская или женская специфика топоса воспоминаний на основе некоторой совокупности случаев, отобранных исследователем, также может быть и оспорено ввиду влияния факторов образования, статуса, возраста, этничности, контекста.

Отличие автобиографического текста женщины-автора в конечном итоге порождено субъективностью, затерянной в многократно объективирующей ее личностные социальные ролях, раздробленной в многочисленных описаниях биографических практик. Между Сциллой переживания концепта мужской достижительной субъективности и Харибдой растворенной в окружающем социальном мире женственности лежит широкий спектр типологически возможной женской идентичности, реконструкция и осмысление которой происходят в процессе создания автобиографического текста или нарративного интервью.

В связи с этим в данном параграфе мы хотели бы триангулировать проблему гендерного различия воспоминаний, обратившись прежде всего к источнику экспериментальной психологии, с целью прояснить, какие гендерные особенности процесса припоминания событий жизни можно считать достоверными и доказанными.

В исследованиях автобиографической памяти С. Блоуз и М. Джонсон (на выборке $n = 425$, из них 172 мужчины, 253 женщины; средний возраст — 18,7 года) обнаружено, что женщины, как правило, запоминают больше эмоциональной информации, чем мужчины. В экспериментальном плане исследования содержание события находилось под контролем: в соответствии с инструкцией участники читали сценарий, содержащий эмоциональную и нейтральную информацию. Предложенный затем тест на воспроизведение по памяти обнаружил больше эмоциональной информации в ответах женщин, чем в ответах мужчин. Хотя было бы неверно интерпретировать эти данные в ключе специфики женской памяти на эмоции, ведь социализация по культурному коду эмоциональной чувствительности — плод культурной типизации гендера [Bloise, Johnson, 2007].

В другом исследовании — Р. Эли и А. Меркурио — предметом межгендерного сравнения стало восприятие перспективы и ретроспективы биографического времени. На выборке из 230 молодых людей (118 женщин и 112 мужчин) они приходят к выводу о том, что способность человека к путешествию во времени частично объясняется тем жизненным

опытом, который приобрел индивид. Так, в отношении женщин их когнитивные, эмоциональные и мотивационные ориентации предусловливают модус воспоминаний прошлого, который авторы квалифицируют как более «богатый». С их точки зрения, именно гендерные аспекты социализации способствуют более широкому осознанию женщинами социального контекста и его временных характеристик, что является одним из возможных объяснений того, почему женщины обладают более «богатой» оценкой времени. Женщины преимущественно склонны вспоминать в режиме хроники собственного жизненного опыта, а также отслеживать жизненный опыт значимых других [Ely, Mercurio, 2010].

Уплотняя дальнейший обзор исследований по гендерным различиям воспоминаний, получим довольно обширный список экспериментальных штудий последнего десятилетия, которые перекрестно повторяют данные из различных выборок:

- при использовании в экспериментах шкалы восприятия времени (time styles scale) показано, что женщины больше ориентированы на прошлое, чем мужчины [Usunier, Valette-Florence, 2007];
- мужчины более ориентированы в автобиографическом воспоминании на будущее, чем женщины [Greene, DeBacker, 2004];
- хотя мужчины и женщины одинаково часто вспоминают [Pillemer et al., 2003], женщины вспоминают больше, чем мужчины, в целях нарративного построения идентичности и поддержания интимности, а также реже пересматривают негативные аспекты прошлого [Webster, McCall, 1999];
- в памяти как о повседневности, так и о драматических опытах женщины в большей степени сосредоточены на трансляции межличностных взаимодействий, чем мужчины [Niedzwienska, 2003];
- в целом автобиографические воспоминания женщин также более яркие (vivid), чем у мужчин [Acitelli, Holmberg, 1993], они используют большее количество и разнообразие слов для эмоций, чем мужчины, при описании своего опыта и характеризуются большей специфичностью, отражающей гендеризированный жизненный опыт [Bauer et al., 2003; Fivush et al., 2003; Hess et al., 2000];
- помимо воспоминаний о собственном жизненном опыте, женщины ориентированы в большей степени, чем мужчины, на хронику жизненного опыта других персон [St. Jacques, Conway, Cabeza, 2011; Bauer, Stennes, Haight, 2003];

- женщины автобиографически вспоминают больше и более подробно [Friedman, Pines, 1991; Pillemer, Wink, DiDonato, Sanborn, 2003; Pohl, Bender, Lachmann, 2005; Ross, Holmberg, 1992; Seidlitz, Diener, 1998; Cowan, Davidson, 1984; Fivush, Berlin, McDermott Sales, Mennuti-Washburn, Cassidy, 2003; Friedman, Pines, 1991], более аккуратны в датировании событий [Skowronski, Thompson, 1990], быстрее их припоминают [Davis, 1999];
- в исследованиях по влиянию гендерных аспектов на когнитивную структуру личных воспоминаний (например, [Woike et al., 1999; Nakash, Brody, 2007]) показано, что женщины структурируют свои воспоминания в более интегрированном и менее дифференцированном когнитивном стиле, в то время как воспоминания мужчин более дифференцированы и менее интегрированы по когнитивному стилю;
- женщины также делают большее количество ссылок на эмоциональное состояние других персонажей. Кроме того, когда женщин просили вспомнить эмоциональные опыты переживания в жизни, они припоминали больше как положительных, так и отрицательных моментов личного опыта, чем мужчины [Fujita, Diener, Sandvik, 1991; Seidlitz, Diener, 1998].

Если попытаться оценить эти взаимно подкрепляющие данные, следует отметить, что степень их эпистемологического потенциала значительно ограничена тем, что содержание рассказанного автобиографического события здесь не анализируется. Поэтому тот обнаруженный факт, что женщины могут запоминать и вновь припоминать больше эмоциональной информации, вероятно, объясняется тем, что они имеют более частый и более интенсивный эмоциональный опыт, чем мужчины. Однако мужчины и женщины, возможно, в среднем испытывают эмоции одинаково часто и интенсивно, но эмоциональная информация может быть более значимой для женщин и, следовательно, лучше запоминаться. Во всяком случае, благодаря дискурсу экспериментальных исследований памяти мы обладаем гендерно-нормативными профилями воспоминаний и можем сравнивать это знание с получаемым в иных дискурсах — в биографических исследованиях и Устной истории.

В этом же ряду стоят и гендерно ориентированные биографические исследования, которые, помимо тематизации субъективности (что противопоставляется как достижение объективирующему женщину позитивистскому дискурсу), дают возможность и опрошенным, и опраши-

вающим женщинам поддерживать субъект-субъектные отношения, обмениваясь взаимной перспективой. Тематическое поле биографий содержит помимо индивидуальных особенностей и другие измерения: характеристики социального пространства, среды, поколения, социального слоя, субкультуры и т.д. Но микроанализ биографических интеракций может вывести и на уровень анализа пола как социальной конструкции. Так, не претендуя на основание типологии мужских и женских биографий, Б. Дозьен приводит примеры гендерных типизаций: выделенные интеракционные конструкции «*Я-в-отношениях*» versus «*Индивидуализированное Я*», стратегии разрешения конфликтов «*разделять-секвенциализировать-индивидуализировать*» versus «*связывать-синхронизировать-помещать в отношения*» [Dausien, 1996, p. 586]. Чтобы отследить эти микропроцессы культурного производства гендера, исследователю/-льнице необходимо эмпирически и аналитически проникнуть во время повседневности с присущими ей интерактивными конструкциями и ответить на вопрос, как конкретные, ситуационно связанные практики интеракции «уплотняются» в структуры, которые делятся и воспроизводятся. Тем самым мы приближаемся к пониманию более общих макросоциальных вопросов:

- каким образом достигается усвоение структуры «авторитет — подчинение» как средства воспроизводства социального господства;
- какова «социальная агентура» этого опосредования;
- как двуполая культурная система институционализируется через повседневную практику взаимодействия мужчин и женщин;
- как в этой практике выкристаллизовываются биографические процессуальные структуры (наслаивание биографического опыта), которые стратифицируют индивидов по признаку пола, и т.д.

На платформе Устной истории кристаллизация гендерных различий в модусе воспоминаний проходит по своей эпистемологической логике — вследствие интерпретации исследователем нарративных особенностей свидетельств драматических и трагических событий, припомненных мужчинами и женщинами. Поскольку культура коллективных воспоминаний в XX в. имеет тенденцию группироваться вокруг насильственных травм [Fussell, 1975, p. 335], корпус устно-исторических воспоминаний прежде всего затрагивает опыт участия в войнах, депортациях, геноциде, репрессиях, этнических чистках. По Фасселлу, «современные» воспоминания, например, о Первой мировой войне вращают-

ся вокруг относительно небольшого числа воспроизводимых сцен. Эти сцены получили особый резонанс не потому, что точно представляли войну, а потому, что воплотили, по его мнению, социальные обстоятельства конца XX в. То есть насилие и войны были одними из наиболее привлекательных ресурсов для политики и висцеральной (внутренней, локальной) коллективной памяти.

В поле этого дискурса отметим прежде всего труды К. Гиллиган, которая на основе своих исследований утверждает, что нет гендерных различий относительно именно семантической памяти, запоминания и воспроизведения теорий и фактов, связанных с общим знанием [Gilligan, 1990]. Различия касаются в первую очередь, по мнению устного историка П. Томпсона, деталей, которыми женщины насыщают свои воспоминания о значимых событиях в значительно большей степени, чем мужчины [International Yearbook of Oral History and Life Stories, 1996, p. 50-51]. П. Томпсон признается, насколько сложнее и более трудоемко получить полные ответы от мужчин, которые заканчивают свой рассказ словами: «Это все правда» [Там же, p. 50].

Среди современных работ, вызывающих дискуссию, выделяется статья Р. Лентин «Femina sacra» [Lentin, 2006], в которой тематизируется различие мужских и женских свидетельств, концентрирующихся вокруг драматичных событий истории XX в., прежде всего Шоа. Название этой работы отсылает в заочном диалоге к «Homo Sacer» Дж. Агамбена, предметом анализа которого стала проблематика власти и суверенного права на введение чрезвычайного положения, преодолевающего границы морали, этического. В работе Р. Лентин на авансцену выдвинута фигура женская, также виктимизированная прошедшей историей, но при этом она не утрачивает фокуса сравнения с мужчиной. Если в упоминаемом Р. Лентин исследовании Цви Дрора выжившие в Шоа мужчины, которых он интервьюировал, дают общие фактологические свидетельства в духе израильской гегемонической маскулинности, то женщины свидетельствуют более эмоционально, концентрируясь на лично пережитом. Это различие в интерпретации подкреплено анализом подобных историй у К. Гергена и М. Герген, которые предполагают, что мужские автобиографии, как правило, следуют классическим линиям фундаментальных западных «мономифов» — саге о герое, который торжествует над многими препятствиями. Напротив, рассказы большинства женщин несколько амбивалентны и рекурсивны, не вписываются в линейную хронологию. Рассказы женщин, жизнь которых характеризуется многочис-

ленными и параллельными траекториями, аффективными материнской заботой и вскармливанием, отличаются от мужских линейных повествований, траектории которых начинаются до Катастрофы и продолжаются через Шоа (а часто и *gevurah* — акты героического сопротивления) к *tekumah* (спасению) в Государстве Израиль [Gergen, Gergen, 1993, p. 195–196]. В политико-дискурсивном смысле такие истории в первую очередь востребованы коллективной памятью. Так, Р. Адлер пишет, что в (еврейском) патриархате есть только мужская память, потому что есть «только мужские персонажи. Они вспоминают и вспоминаемы, они получают и передают традиции, закон, ритуал, историю и опыт» [Adler, 1991, p. 45]. Тем не менее женщины помнят тоже, но вспоминают другой опыт и обнаруживают в нем большую уязвимость в смысле сексуальной эксплуатации.

Несмотря на выделенные дискурсивные гендерные различия в трансляции травматичного опыта, эти биографии или истории жизни объединяет нечто общее, сформулированное Л. Лангером. Так, теоретизируя неспособность выживших в Шоа связывать прошлое с настоящим, Л. Лангер сопоставляет «общую память», которая «заставляет нас считать Освенцим испытанием как часть хронологии освобождения нас от боли, вспоминая невысказанное», и «глубинную память», которая «напоминает нам, что прошлое Освенцима на самом деле не в прошлом и никогда там не будет» [Langer, 1995, p. XI]. Он полагает, что в конечном счете эти свидетельства объединяет «непреднамеренный, неожиданный, но неизменно неизбежный провал в попытке связать опыт Шоа с остатком их жизни» [Langer, 1991, p. 2–3]. Здесь мы находим параллели с исследованиями Г. Розенталь, которая также формулирует невозможность заключения гештальта относительно целостной истории жизни переживших Шоа, то есть их некогерентности. Весьма дискуссионными моментами, на наш взгляд, в анализе гендерных биографий с таким опытом являются 1) сюжет валоризации (выживание в Шоа часто приобретает ценность за счет моральности, приобретения морального авторитета) [Bauman, 2000], а также 2) пролонгированная виктимизация как результат восстановления женского гендерного опыта насильственной виктимизации. Этот непростой момент дискуссии отмечен Р. Лентин: то, что женщинами непроблематично упоминается в виде рассказов о частной семейной сфере, означает или прикрывает для выживших в Шоа сломанные или неоднозначные идентичности, условно заменяющие историю сообщества гендерной индивидуализированной идентичностью

выжившей. Более того, Р. Лентин утверждает: мы, т.е. современные поколения, живем на инвестициях в воспоминания жертв геноцида как валоризированных и чистых.

Неудивительно, что дискурсивному признанию таких женских историй, вроде демонстрирующих нормализацию травматичного военного опыта, сопротивляются феминистски позиционированные исследовательницы — например, Дж. Рингельхайм. Она критикует такое оценочное восприятие как взывающее к способности женщин выжить благодаря исключительно строительству альтернативных семейных союзов и, следовательно, к возврату к традиционным гендерным ролям и морали [Ringelheim, 1997]. В таком же русле ведет дискуссию и турецкая исследовательница А. Акпинар на материале диаспоральных биографий турецких женщин-мигранток [Akpınar, 2003]. В контексте ее исследования восточной этнокультуры женщины стратегически позиционируются как носительницы чести и стыда в сообществе, поэтому выжившие женщины воплощают и символизируют коллективные ценности и несут большую ответственность за нарушение границ — как символических, так и материальных. Но припоминая о большей уязвимости женщин для сексуальной эксплуатации, могут ли выжившие выбрать для рассказа о пережитом линейный дискурс хронологически подробного воспоминания, не подпадая под опасность вторичной виктимизации?

Таким образом, гендерный фокус и гендерная теория могут образовать ценную линзу, через которую может быть изучена культурная память, неизбежно приобретающая формы мужских и женских воспоминаний. Действительно, гендер вместе с этничностью и классом предоставляет средства, с помощью которых культурная память помещена в определенный контекст. Кроме того, гендер является неизбежным аспектом отношений власти и культурной памяти, привнося сюжет различия и оспаривания доминирующих интерпретаций. То, что культура помнит, и то, что она хочет забыть, неразрывно связано с вопросами власти и господства, а следовательно, и гендера. Наконец, культурные коды и тропы, через которые культура презентует свое прошлое, также строятся по признакам гендера, этничности и класса.

Культурная память наиболее сильно передается через отдельные голоса и тела как показания свидетелей. Это не означает, что свидетель говорит только о своей памяти, ведь как М. Хальбвакс ясно дал понять: люди обычно приобретают свои воспоминания в обществе. Кроме того, также в обществе они вспоминают, распознают и размещают свои вос-

поминания [Хальбвакс, 1997]. Культурную память, кажется, можно лучше всего понять в фокусе индивидуального и социального, собранных вместе, когда человек призван своей биографией проиллюстрировать общество в его неоднородности и сложности. В этом контексте публичного и частного гендер можно рассматривать как определяющий фактор. История женщин как параллельная история, которая восстанавливает забытые истории и факты, конечно, подтверждает данную точку зрения. Но за этой явной технологией памяти скрываются собственно гендерные рамки интерпретации и акты передачи, в смысле П. Коннертона — act of transfer [Connerton, 1989, p. 39], которые зависят от обычных этнокультурных кодов и моделей. Кроме того, опыт, а также его воспоминания и передача тоже гендеризованы и встроены в контекст. Поэтому индивидуальные и групповые повествования, о которых идет речь, позволяют увидеть зависимость артикуляции памяти от гендера, этничности, класса и сексуальности (как это увязано у В. Смит [Smith, 1998] или Н. Юваль-Дэвис [Yuval-Davis, 1997]). Идентичность — индивидуальная или культурная — становится историей, которая тянется из прошлого в настоящее и будущее, присоединяет человека к группе, строится по признаку гендера и связанных с ними маркеров идентичности.

§6. Биографическая память: между индивидуальным и социальным

В этом разделе нас будут интересовать особенности феномена памяти, позволяющие индивиду запоминать события жизни и воспроизводить их. Насколько надежен этот источник информации? Какие его особенности необходимо учитывать при планировании биографического исследования, его проведении и анализе?

В зарубежной и отечественной психологии широко развивается направление *memory studies*, посвященное функционированию памяти. Распространенный конструкт ее концептуализации строится на единстве чувственного образа, его социально обусловленного значения и личностного смысла. Классификации памяти разнообразны: произвольная и непроизвольная; образная и вербально-когнитивная; моторная, тактильная, слуховая, зрительная, одорная (ольфакторная), вкусовая; эмоциональная и т.д. По времени сохранения воспоминаний различают

ультракратковременную, кратковременную и долговременную память. Если давать строгое определение, то под автобиографической памятью понимается «субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного пути, состоящее в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации автобиографически значимых событий и состояний, которым определяется самоидентичность личности как уникального, тождественного самому себе психологического субъекта» [Нуркова, 2000]. Б. Росс также пишет, что «автобиографическое воспоминание представляет собой реконструктивный и одновременно конструктивный процесс, порождаемый потребностью субъекта в вере в стабильность Я и потребностью в необходимых и пригодных для поддержания подобной веры фактах» [Ross, 1991].

Из недавних экспериментальных исследований памяти (Тульвинг, Маркович, Гриффит и др.) явствует, что человеческая способность вспоминать свидетельства составлена из семантической памяти, впоследствии переименованной Тульвингом как память знания, и эпизодической памяти [Markowitsch, 2000]. Автобиографический опыт, согласно Тульвингу, кодируется именно в эпизодической памяти. Эпизодическая память удерживает контекстуально (через время и место) связанные биографические эпизоды, которые позволяют путешествовать во времени (как правило, в прошлое), ее природа часто аффективна. Напротив, память знания (первично семантическая) контекстуально свободна и тем самым современна. Если эпизодическая память всегда основывается на активном вспоминании себя, память знания соотносится с «чистым» знанием об информации. Поэтому отношение обеих систем памяти между собой — это встраивание эпизодического (вспоминания) на уровень знания, а не наоборот.

Другие особенности автобиографической памяти, по Тульвингу, означают, что информация должна пройти сначала семантическую память, прежде чем она сможет достичь эпизодической, и часть информации «отвердевает» на уровне знания, в то время как другая часть связности с контекстом репрезентируется эпизодически. Если вызывать воспоминание, стимулируя в ситуации интервью рассказ о прошлом, насыщенный конкретными эпизодами, т.е. апеллировать к эпизодической памяти, то не удастся миновать семантики, заложенных значений, поскольку именно через семантическую память информация закладывается на хранение. Это означает принципиальную невозможность «очистить» автобиографическую память от субъективности, что порождает

два методологических императива: «реабилитацию» субъективности и развитие техник нарративного опрашивания и анализа, сближающих произошедшее–пережитое–рассказанное.

Исследователи автобиографической памяти, не оставляя усилий по развитию методик, стимулирующих рассказчиков к возможно более правдивой версии пережитых событий, тем не менее так же скептически. Так, Б. Росс считает, что «в большинстве случаев задача исследователя заключается не в различении правдивой и ложной “версий”» (исключение составляет ситуация судебной экспертизы), а в выявлении пути, которым преобразуется значение действительного биографического факта, и в безусловном признании ценности автобиографического рассказа как способа создания субъектом ощущения реальности переживаемого события» [Ross, 1991, p. 10]. Внимание исследователя переключается тогда с сомнения в правдивости на анализ направления преобразований запомненного события в процессе жизни. И мы не случайно углубляемся в специальную, хотя и смежную, область изучения автобиографической памяти, поскольку вопрос о принципиальной и неизбежной субъективной окрашенности воспоминаний чрезвычайно важен. Российская исследовательница автобиографической памяти В. Нуркова со ссылкой на работы американских исследователей К.Т. Строгмана и С. Кемпа [Strogman, Kemp, 1991], методические работы А. Кроника по установлению каузальных связей между событиями приходит к выводу о том, что люди запоминают в основном социальный смысл событий своей жизни, преломленный сквозь призму личностной значимости [Нуркова, 2000]. Проведя сравнение частоты эмоционально окрашенных слов в рассказе и степени важности события, признанной испытуемыми, Строгман и Кемп обнаружили расхождения между осознаваемой и неосознаваемой значимостью конкретного биографического факта.

К процессам, оказывающим влияние на расхождение между пережитым и рассказанным, относятся забывание и механизмы искажения в автобиографической памяти. Естественный процесс забывания связан с вытеснением первичного воспоминания его реконструкцией, которая с течением времени (и с поводами для рассказывания) превращается на вербальном уровне в «палимпсест»³. Меняющиеся контексты возобнов-

³ Палимпсест (греч. *παλιψηστον*, от *πάλι* — опять и *ψηστός* — соскобленный) — рукопись на пергаменте (реже на папирусе) поверх смытого или соскобленного текста.

ления воспоминаний о пережитом ставят новые задачи перед рассказчиком. Кроме того, метафора палимпсеста отражает знание экспериментального происхождения о том, что переживание события, трансформирующееся в воспоминание, приобретающее характер фактуальности биографии, конструируется в оглядке на культурные/жанровые каноны рассказывания [Brown, Kulik, 1977]. Эти каноны построены по когнитивной схеме: что произошло, где, когда и с кем. Вербализация этой когнитивной схемы несет важную функцию оречевления пережитого опыта, суть которой — в построении собственно памяти об эпизоде.

К механизмам искажения автобиографической памяти относят: когнитивные интерпретации, влияние социальных стереотипов или индивидуального прошлого опыта, фактор повторения, расхожие сценарии воспроизведения, психологическую защиту/вытеснение, влияние актуальной идентичности рассказчика, дистанцию между личностными изменениями, различие между произвольной/принудительной и непроизвольной ситуациями воспоминания, ассоциированность/диссоциированность рассказчика с эпизодом воспоминания, влияние дополнительной информации, поступившей позднее, а также возрастные, гендерные, национальные и культурные особенности рассказчиков [Нуркова, 2000]. Очевидно, что дифференциация непреднамеренных искажений автобиографической памяти и их отличие от явной интенции искажения в процессе трансляции пережитого является сложной исследовательской задачей. Но первичной, видимо, должна быть этическая позиция исследователя, исходящего из презумпции неискаженного отражения пережитого рассказчиком и наталкивающегося на искажения, обнаруживающего их в ходе формального анализа текста воспоминаний. Помимо этической доксы, важна и методологическая. Как подчеркивает М. Поллак, «ментальный порядок (...) есть плод постоянной работы по управлению идентичностью, которая состоит в том, чтобы интерпретировать, упорядочивать или отвергать (временно или окончательно) любой прожитый опыт так, чтобы он был связан с прошлым опытом, а также с пониманием себя и мира, появившимся в результате его воздействия; короче говоря, речь идет об интеграции настоящего в прошлое» [Pollack, Heinrich, 1986, p. 12].

Следовательно, нет и не может быть одной устоявшейся версии прошлого, неизменно транслируемой в ситуации социальных интеракций. Изменчиво отношение к нему как свидетельство работы субъекта по постоянному переписыванию значения прошлого и тем самым присвое-

нию прошлого. Именно эта биографическая работа и делает его субъектом; словами Сартра, важно не то, что сделали с человеком обстоятельства, а то, что сделал он с тем, что сделали с ним. Такой взгляд на биографическую работу воспоминаний переключает внимание с факта искажения пережитого на функциональность этого искажения в воспоминании.

Другой уровень анализа памяти, оказывающий влияние на биографический рассказ о пережитом, связан с ее социальными рамками, в терминах М. Хальбвакса. Мы рассмотрим кратко два уровня: семьи и социальной группы. На уровне семьи речь идет о семейной культуре воспоминаний, функциональных для данного микросообщества. Их трансляция от поколения к поколению обеспечивает ценностное единство семьи как клана, и наоборот, разрыв в традиции воспоминаний, в передаче семейных меморатов свидетельствует об автономизации, отчуждении внутри семейной группы, но также и о процессах индивидуализации. Французская исследовательница направления клинической социологии А. Мюксель [Muxel, 1996] выделяет три основные функции семейной памяти: передача/трансмиссия, «возврат к жизни» (можно перевести и как ревитализацию) и рефлексивность. Функция передачи как своего рода «учебник жизни» отражает «настоятельную потребность, которая мобилизует память, чтобы восстановить историю индивида в целом, состоящую из генеалогических и символических связей, которые объединяют его с другими членами семьи, свою принадлежность к которой он осознает» [Muxel, 1996, p. 14]. Поддерживая дискурс семейных воспоминаний, рассказчик идентифицирует себя с семейной группой, ощущает поколенческую связь, претендует на идентичность, характер которой преемственен с клановой. Возобновление и участие в семейных меморативных практиках как ритуал, само содержание семейного мемората через упоминание персонажей и связанных с ними семейных историй обнаруживают жизненные сценарии, прописывающие ценностно окрашенные модели поведения, успешные/неуспешные стратегии выживания, брачный выбор, пути поиска профессии и социальной мобильности.

Функция «возврата к жизни» связана с «оживлением своего прошлого существования» [Muxel, 1996, p. 24]. Сценически спровоцированное воспоминание переживаний детства и семейной жизни сопровождается эмоциями, аффектами, что вызывает своего рода маятниковые движения между настоящим и прошлым, чтобы, как полагает А. Мюксель, снизить тревогу из-за неотвратимости времени. Подобное овладение хронологи-

ей и ее инверсия дают возможность путешествовать во времени, испытывая чувство ностальгии или экзальтации. Память, забывание и вытеснение строят в опоре на пережитое «семейный роман, в котором перемешиваются правда и ложь, реальное и порожденное фантазией, факты и выдумки». Функция рефлексивности содержит «критическую оценку своей судьбы». Прошлое переоценивается, проясняется течение жизни, ее смысл в связи с тем, что произошло и случилось позднее, строятся связи между прошлым и настоящим для проекции в будущее.

Вышеописанная типология функций семейной памяти отражает прежде всего задачу обслуживания интересов воспроизводства семейной группы, которая тем не менее реагирует (через функцию рефлексивности) на изменяющийся социально-культурный контекст, приспосабливаясь к нему. Иной вектор типологии социальных функций собственно памяти, которую можно обнаружить в модусе взаимодействия активности субъекта, его Я-концепции и корпуса воспоминаний, акцентирует исследовательское внимание на следующих процессах⁴:

- 1) селекция — способность отбирать (и забывать) фрагменты значимого прошлого;
- 2) интерпретация — способность корректировать прошлое в опоре на социально ожидаемое, фреймы индивидуального и коллективного нарратива, ресурсы воображения;
- 3) реверсивность — способность инициировать управляемый цикл по воспроизведению прошлого.

Указанные функции отбора, интерпретации и воспроизведения приобретают иной социальный масштаб, будучи примененными не индивидом, но группой в целях распоряжения прошлым, историей. Безусловно, и на этом уровне анализа мы найдем комплементарные задачи, которые М. Хальбвакс, автор концепта «Социальные рамки памяти», использует для обоснования понятия «коллективная память» [Хальбвакс, 2007]. В русле его подхода главная функция коллективной памяти — сохранение единства сообщества и его воспроизводство. Различные социальные группы культивируют свою коллективную память, изобретают ритуалы ее визуализации, архивируют свидетельства единообразного пережитого. При неизбежном несовпадении меры индивидуального и коллективного опыта следствием является поглощение коллективным

⁴ Подобнее об этом на фикциональном материале российской литературы см. работу Н.Г. Брагиной [Брагина, 2007, с. 159–209].

нарративом индивидуальных свидетельств. Поэтому понятие коллективной памяти включает стратегии фальсификации и мистификации, поскольку важнее не сохранение прошлого, но сохранение группы, поддержание определенных коллективных идентичностей.

В отношении понятия коллективной памяти, коннотируемой с коллективными представлениями о прошлом и не имеющей физиологической основы, С. Московичи небезосновательно предлагает заменить ее на понятие «социальные представления», усматривая здесь излишнюю антропоморфизацию предмета (групповой разум, массовая душа, коллективный индивид) [Moscovichi, 1987, p. 516]. Это направление критики антропоморфизации коллективного субъекта продолжено отечественными социальными историками И. Савельевой и А. Полетаевым, которые полагают, что в данном случае происходит умножение сущностей: нет нужды в подмене терминов «социальные представления» или «знание» термином «память» [Савельева, Полетаев, 2005, с. 218]. В случае коллективного феномена, по мнению Дж. Хартмана, функции памяти берет на себя воображение [Hartman, 1999, p. 264], «дереализуя» истории и имена, конструируя подобия существования вещей.

Возможно, мы останемся на более прочных позициях, если ограничимся понятием социальной памяти, очерчивая пространство, выходящее за рамки индивидуального процесса воспоминания. Тогда в качестве основной манифестации феномена социальной памяти мы видим меморативные⁵ практики, представляющие собой производство и воспроизводство интерпретаций прошлого и действий по его актуализации. В современности социальная память приобретает фрагментарный, децентрализованный характер, что позволяет говорить о дискурсивной множественности взглядов и представлений о прошлом. В рамках социально-конструктивистской парадигмы мы придерживаемся мнения об отсутствии субстанциальности в феномене социальной памяти, что влечет за собой представление о ее постоянном изменении в соответствии с изменением социального запроса на обновленные версии прошлого. Социально значимый характер меморативной практики обнаруживается благодаря повторяющемуся набору социальных действий, направленных на стратегию 1) включения в память как увековечивания и 2) исключения из памяти как репрессии, но также и 3) включения в па-

⁵ Термин «коммеморация» относится к так называемой живой памяти очевидцев, которые солидаризируются в процессе совоспоминаний.

мять как репрессии и 4) исключения из памяти как прощения. Эти стратегии социальной памяти нуждаются в легитимации.

Эта задача решается в рамках концепции культурной памяти Я. Ассмана [Ассман, 2004]. Понятие культурной памяти содержит представленные, направленное на моменты прошлого, и существует в модуле обособляющего (наделенного смыслом) релевантного воспоминания. В отличие от коллективной или социальной памяти обособляющее воспоминание не опирается на социальное взаимодействие, но формулируется социальными институтами, которые отбирают конфигурацию элементов прошлого. «Пропущенное» через культурную память, прошлое кристаллизуется в символические фигуры, или «места памяти» (термин П. Нора), приобретающие значимость с точки зрения настоящего. Концепт «места памяти» П. Нора приобрел в российском социальном дискурсе большую популярность [Нора, 1998; 2005]. Он исходит из того, что с угасанием живых традиций памяти в современном обществе мы застаем лишь «архивные формы» памяти, которые можно обнаружить в особых, изолированных от обычного течения жизни «местах». Эти «места» представляют собой воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась утраченной [Nora, 1989, p. 12]. По мнению П. Нора, невероятное ускорение истории погружает все в область окончательно минувшего, заражая настоящее лихорадкой сохранения следов, порождая гипертрофию институций памяти: архивов, музеев, библиотек, коллекций, цифровых массивов акций, банковских данных, хронологий и репертуаров — по совокупности зеркало нашей идентичности [Nora, 1989]. Но это ускорение времени сопутствует радикальным социально-политическим изменениям, расставляющим новые дискурсивные акценты в большой истории, провоцирует диверсификацию политик меморизации тех социальных групп, чей исторический опыт подвергся переоценке. Идеи П. Нора о крахе больших линейных нарративов, сопряженных с социальными изменениями, отражают логику сворачивания официального исторического дискурса к фрагментированной мозаике вокруг «мест памяти». Однако было бы справедливо оговориться, что влияние концепции П. Нора в российской исторической науке бесспорно для направления микроистории и Устной истории.

Социологический интерес к феномену памяти с позиции настоящего продиктован поиском механизмов, порождающих и поддерживающих социальность. Память о прошлом необходима для социального

взаимодействия, поскольку она — в качестве культурно обработанного продукта — закладывается в представление о «должном» характере социального действия. Рефлексивное применение ресурсов памяти, более того, стратегическое распоряжение ими приводит к тому, что происходит «приписывание явлениям настоящего некоторого дополнительного значения. Это свидетельствует о прошлом, отсылает к прошлому, ... что противоположно “синхронизированному”», социально согласованному как одновременному настоящему» [Филиппов, 2004, с. 49]. Как ресурс социального взаимодействия память подпитывает его информационно, конструирует значения для настоящего, вызывает эмоции и опереживания и, наконец, косвенно, через социально-политические институты, обеспечивает социальную идентификацию. Меморизаторские практики, «места памяти» и ее ритуалы призваны напоминать о прошлом, провоцируя живейшие отклики или полное равнодушие, но апелляция к переживанию прошедшего превращает, стремится превратить прошлое в часть настоящего, придать ему смысл. Присутствующий здесь элемент политики по отношению к памяти высвобождает ее от диктата хронологии, но обнаруживает тем самым свой социальный характер: мы «помним» о тех событиях, в которых нуждаемся социально (скажем, Куликовская битва), или «забываем» те события, которые в определенные периоды противоречат социальному дискурсу (например, о Катыни). Как полагает А. Филиппов, социальная память выходит за рамки актуального опыта, более того, конструирующим моментом *Gemeinschaft*'а (общины) является не только память о фактах, имевших место в прошлом, но и об абсолютных событиях: учредительных событиях *Gemeinschaft*'а, сакральных и сакрализованных (возведенных в статус сакрально-реальных). «Социальная память есть тематизация в модусе значимого прошлого присутствующих в актуальном взаимодействии моментов, которые указывают на прошедшее, но мотивируют, вовлекают, парализуют рефлексия как актуальное *настоящее*» [Там же, с. 50].

Что вытекает из такого подхода к пониманию социальной памяти, простимулированного рефлексией критического дискурса? Какие следуют возможности для социологического анализа? На наш взгляд, здесь принципиальны две основные задачи:

- во-первых, работа по изучению селективной, интерпретативной и реверсивной функций социальной памяти и соответственно выявление механизмов искажения и стратегического управления социальной памятью, содержания политик меморизации. В отноше-

нии задач анализа индивидуальной биографии — это важный фрейм коллективных представлений, очерчивающий репертуар возможных толкований прошлого, наследуемый индивидом;

- во-вторых, изучение механизмов порождения социальности и мобилизационных функций социальной памяти (или, возможно, наоборот, блокирования определенных действий), которые реализуются в индивидуальных биографических стратегиях.

В отношении первой задачи представляются плодотворными развитие идей и эмпирическая апробация концепции Й. Рюзена [Рюзен, 2001; 2005], который предлагает следующие стратегии переработки прошлого на уровне коллективов, групп, сообществ:

1) анонимизация (манипуляция абстрактными терминами — вроде «судьба», «рок» и т.д.);

2) категоризация (включение фактов в разнообразные классификации, в которых они теряют свою остроту и превращаются в категории, а не реальные события);

3) нормализация (кризисы и конфликты в прошлом подверстываются под функционирование законов как частные проявления общих закономерностей, объясняемых человеческой природой);

4) морализация (историческая травма выступает в качестве предостережения, урока, требующего недопущения подобных ситуаций в дальнейшем);

5) эстетизация (травмирующий опыт превращается в материал для эстетического оценивания, благодаря чему коллективная память распадается на воспоминания отдельных людей, лишённые общезначимого характера);

6) телеологизация (оправдание порядка, обещающего предотвратить повторение произошедших событий);

7) метаисторическая рефлексия (снижает значимость произошедших событий за счет апелляции к всемирной истории и подчеркивания общеисторических процессов развития и изменения);

8) специализация (прошлое становится предметом исследования отдельных исторических дисциплин, в результате чего утрачивает свою целостность).

Культур-антропологический подход Й. Рюзена был разработан для решения специальной задачи изучения кризиса, возникающего при столкновении исторического сознания с опытом, выходящим за рамки представлений о социально-исторической норме, — катастрофическим опы-

том. Тем не менее осуществленный им анализ восстановления социальности при условиях посткатастрофических процессов содержит, на наш взгляд, полезную рамку анализа для биографий XX в., проструктурированных общими историческими событиями. По мнению Й. Рюзена, вообще обращение к микроистории, конкретным биографиям — это проявление внимания к способу, каким люди воспринимали и интерпретировали свой собственный мир, проникновение в сознание изучаемых людей в попытке вернуть им культурную самостоятельность восприятия их собственного мира характерным для них способом, который отличается от нашего [Рюзен, 2001, с. 12]. Утверждая оспариваемую методическую рациональность микроисторического подхода, он пишет, что «не существует памяти, абсолютно не претендующей на правдоподобие, и эта претензия основывается на двух элементах: внесубъективном (trassubjective) элементе опыта и интересубъективном элементе согласия» [Там же, с. 13]. Если память — закрепленный и воспроизводимый, передаваемый в семейном и социальном нарративе опыт, то интересубъективность — другой элемент исторического смысла; история немислима без согласия тех, к кому она обращена. Но, как пишет далее Рюзен, «ее правдоподобие зависит не только от ее отношения к опыту. Оно зависит также от ее отношения к нормам и ценностям как элементам исторического смысла, разделяемым сообществом, которому она (история) адресована» [Там же], т.е. зависит от дискурсивных правил, которые создают интересубъективное согласие.

- Рождественская, Е. Ю.** Биографический метод в социологии [Текст] /
Р62 Е. Ю. Рождественская ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». —
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 381, [3] с. — 600 экз. —
ISBN 978-5-7598-0960-9 (в обл.).

В монографии изучается социальное посредством биографий и биографическое как социальный конструкт. Обращение к биографическому интервью является распространенной исследовательской практикой, однако в отечественной социологической литературе по качественным методам нет изданий, посвященных исключительно проблемам полного цикла биографического исследования. Новизна подхода монографии в теоретическом плане заключается в «нарративистской» позиции автора (нарративная идентичность как продукт автобиографического рассказа) и в структурном плане — в охвате полного цикла биографического исследования: от постановки задачи биографического исследования до ее реализации.

Для социальных исследователей широкого профиля (социологи, этнографы, антропологи, культурологи), а также для студентов, которые осваивают качественный подход в социологии.

УДК 303.686.2:316
ББК 60.5в7

Научное издание

Рождественская Елена Юрьевна

Биографический метод в социологии

Зав. редакцией *Е.А. Бережнова*

Редактор *Н.В. Андрианова*

Художественный редактор *А.М. Павлов*

Компьютерная верстка и графика: *Ю.Н. Петрина*

Корректор *Г.В. Крикунова*

В оформлении обложки использован рисунок
французского писателя-путешественника Сильвана Тессона.

Подписано в печать 11.10.2011. Формат 60×88¹/₁₆
Гарнитура NewtonС. Усл. печ. л. 23,3. Уч.-изд. л. 20,1
600 экз. Изд. № 1489

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

ISBN 978-5-7598-0960-9



9 785759 809609